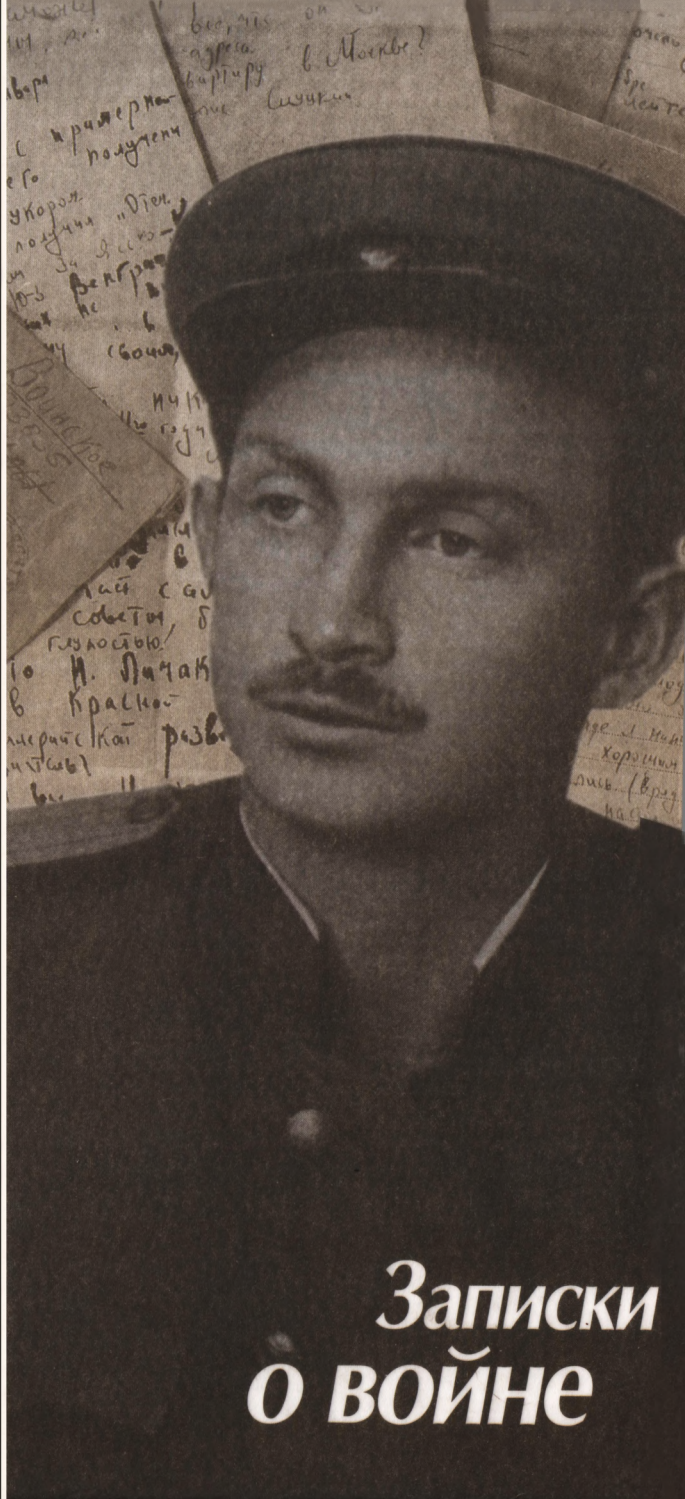


БОРИС СЛУЦКИЙ · Записки о войне

БОРИС СЛУЦКИЙ



Записки
О ВОЙНЕ





1945-2000











Борис Слуцкий. 1945 г.

БОРИС СЛУЦКИЙ

Записки о войне



*Стихотворения
и
баллады*



Санкт-Петербург
Издательство
LOGOS
2000

ББК 84. Р7
С49

**Федеральная программа
книгоиздания России**

Вступительная статья

Д. Гранина

Составление, послесловие и примечания

П. Горелика

Редактор

Т. Шамова

Художник

И. Зарубина

ISBN 5-87288-192-4

© СПб.: Издательство «Logos», 2000

© Б. Слуцкий, 2000

ОТ РЕДАКЦИИ

Рукопись «Записки о войне» пролежала в столе Бориса Слуцкого и его друзей в ожидании публикации почти 55 лет. Ровно столько лет отделяют нас от победоносного окончания Великой Отечественной войны.

В преддверии 55-й годовщины нашей великой Победы рукопись наконец становится книгой и доступна читателю.

Издательство «LOGOS» посвящает это издание памяти миллионов безвестных героев, отдавших свои жизни на полях сражений с фашизмом за честь, свободу и независимость нашей Родины.

Даниил Гранин

ВКУС ПОБЕДЫ

Отнюдь не любитель предисловий, я взялся за это по давно забытому чувству солдатского братства. Нас осталось совсем немного, тех, кто воевал. То есть стрелял, отступал, попадал в окружение, затем наступал, и тем более тех, кто дошел до Победы и мог оценить ее сладость.

Борису Слуцкому повезло, он не только уцелел в той жестокой, кровавой войне, но ему досталось провести последний завершающий акт Великой Отечественной на лучшей для писателя должности — командуя радиовещательной машиной. Он побывал в Австрии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Румынии. Работа на звуковещании была опасной, пропагандистскую машину ожесточенно обстреливали, зато перед Слуцким разворачивалась вся панорама победного наступления наших войск, разгрома фашизма, освобождения европейских народов от оккупации. Он видел взбаламученную, растерянную, униженную и счастливую Европу, запруженную тысячными потоками остарбайтеров, тех, кто возвращался на родину, недавних узников концлагерей, города, откуда бежали оккупанты, города без властей, свободу внезапную, испуганную, безудержную...

■ ВКУС ПОБЕДЫ

Конец войны, весна 1945 года, время мести и прощения, время надежд и страха, для нас, советских солдат, это было время, когда вдруг открылась неизвестная европейская жизнь, — мы увидели не только проклятую фашистскую Германию, но и Балканы, прелесть старинных австрийских городков, сельский быт, дома фермеров, замки, бордели, всю, до того скрытую от нас, запретную жизнь европейского обывателя.

На каждом шагу Слуцкого ожидали удивительные казусы войны. Признаюсь, когда мне дали эту рукопись, я был убежден, что она устарела. Времени порча не могла обойти ее, это же не повесть, не роман, это публицистика, весьма скоропортящийся продукт, тем более, что Борис Слуцкий создавал свои «Записки» сразу после войны. Прошло уже 55 лет, и каких лет!

История Великой Отечественной войны, не раз и не два менялась, пересматривалась, до сих пор у нас так и не появилось более или менее правдивой истории этого величайшего события XX века. Тем более я удивлялся прочности этой неопубликованной книги Бориса Слуцкого. Какое счастье, что она не пропала!

У нас установилась, и долгое время торжествовала, солнечная картина триумфального марша наших войск по Европе навстречу Победе. Освободители! Как нас любили — цветы, поцелуи, ликующие толпы болгар, словаков, словен, чехов, счастье долгожданной победы дурманило наши головы. Спустя еще несколько лет после войны, бывая в Чехословакии, в Болгарии, я ощущал на себе любовь и благодарность к своему солдатскому званию. Рассказы, фильмы о той поре об-

рели обязательный трафарет, сладкий до приторности вкус самоупоения... Суровый воин в запыленной плащнакидке поднимает на руки немецкого ребенка — статуя в берлинском Трептов-парке утверждена была как герб, как итог, присужденный навеки победителям.

Мы не заметили, как красивая легенда стала трескаться, ржаветь, как была истрачена любовь к нам—освободителям от фашизма. Помню лишь отрезвляющий ледяной душ книги Льва Копелева «Хранить вечно». Он не убоился рассказать о том, как, войдя в Германию, наши солдаты насильничали, грабили, убивали, разрушали. Я читал это не про кого-то, про нас, про то, о чем не хотел помнить; он тыкал нас мордой в наше хамство, в наше дерьмо. Копелев провел всю войну на фронте, был в отделе — по работе среди войск противника, хорошо знал, как это было. Такая правда была неуместна. Копелева репрессировали. Книга Копелева вышла в «тамиздате», спустя десятилетия ее выпустили у нас в России.

«Записки» Бориса Слуцкого отличаются от всего того, что было написано: они не обличают, нет в них и похвальбы победителя. Спокойно, чуть иронично, свидетельствует он о том, как мы входили в Европу, что там творили хорошего и плохого. С какой-то отстраненной мудростью изображает он, чем кончаются войны. Любые, самые справедливые, оправданные, необходимые. Как они портят человека, и как они возвышают его.

О себе, о своих заслугах, о геройстве звуковещательной станции, которая всегда действовала на переднем крае, — очень скупое. А жаль, потому

как работа эта была интересна, в ней сказывались наши приметы.

Зато «Записки» заполнены до отказа тем поразительным фольклором фронтовых баек, какие ежедневно создавала война.

...В битве под Москвой солдат вскочил на немецкий танк и обухом топора, матерясь, загнул пулемет.

...Осенью 1944 года поределье наши полки в Западной Румынии пополнили освобожденные из лагеря военнопленные защитники Одессы и Севастополя, они сохранили в лагерях свою военную честь и оправдали себя в первых же боях.

...В Венгрии к нам перешла рота мадьяр. Недоставало в ней одного взвода. Слуцкий вызвал командира роты, приказал ему вернуться за линию фронта и привести к нам в плен недостающий взвод. Фантастичный этот приказ был выполнен.

Слуцкий, преимущественно поэт, в этих записках утвердил себя и прозаиком, мастером точных, мгновенных зарисовок, характеров, пейзажей. Проза его лаконична и точна, насыщена красками, звуками. Иногда кажется, что он пишет не своему современнику, а нам, читателям конца века, настолько он бесстрастно аналитичен. Вот он описывает мародерство. Январь 1945 года, Венгрия, графский замок:

«...Веера повертели в руках и повесили — как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена кишиневской операции и более древние брали часы, кольца, клипсы, пару, другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезки (блеснула

надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок».

Слуцкий создает беспощадные портреты и побежденных, и победителей. Ему нужно было получить от командующего группой войск по овладению Белградом разрешение предъявить ультиматум фрицам, без него вещать нельзя: ультиматум составлен нашим комдивом, но посылают за разрешением, конечно, майора Слуцкого.

Командующим был прославленный генерал-лейтенант Жданов.

Описывает его Слуцкий без всякого пиитета, со сдержанной улыбкой. Генерал принял его на главной улице предместья — высокий, красивый в демонстративно-полной генеральской форме, и далее следует наблюдение: «Меня всегда удивляло — до чего крупный упитанный народ наши генералы... 20 лет мирного строительства, когда начальство партийное, советское, профсоюзное надрывалось на работе, они физкультурились и, отчасти, отъедались на положенных пайках».

В те годы хоть физкультурили, так и ели лишь положенное.

Генерал отверг всякий ультиматум. Он театрально высмеял это предложение. Он считал, что город уже взят им.

На следующий день выяснилось, что до взятия столицы далеко, более того, наши войска попадают в окружение... А между тем, Жданов уже доложил о взятии Белграда, и доклад пошел к

Сталину. Белград был взят лишь спустя пять дней.

До чего похоже на нынешних наших генералов.

Слуцкий — неумолимый летописец этой войны, казалось бы, победоносной, но, увы, на самом же деле испещренной не просто ошибками, а типичными грехами, неоправданными потерями, генеральскими амбициями, бесчеловечностью.

Про эту финальную часть Победы мы знаем мало. У Слуцкого была возможность видеть и участвовать в заключительных операциях на разных участках огромного фронта: Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия — и он максимально использовал эту возможность. Не знаю, вел ли он дневник, делал ли какие-то заметки, но все равно, подробности тех событий, запечатленные им, свидетельствуют о памяти исключительной, памяти не журналистской, а писательской.

Это труднейший жанр — документальная проза.

Австрийская деревушка, случайная встреча.

«То была бесцветная женщина с вялой кожей и тускло-рыжими обеззолоченными волосами... Она говорит однообразно и скучно.

— Я часто слушала радио и хорошо знаю о Красной Армии. Я ждала вас. Я всю жизнь любила одного мужчину. А сейчас мне приходится спать с каждым солдатом, который проходит через деревню. По его первому слову».

История в записках Слуцкого выступает в наиболее для меня драгоценном виде — как история чувствований, настроений, восприятий.

Наши солдаты, войдя в Румынию, увидели парикмахерские, где мылят пальцами и не моют ки-

сточки, отсутствие бани, умываются из таза: «Сначала грязь от руки остается, потом этой грязью лицо моют». Презирали местные бордели, проституцию, то, как продают себя женщины, эрзац-сахар, эрзац-продукты.

Оказывается, в Румынии наш солдат более всего ощущал свою возвышенность над Европой. Слуцкий рассказывает, как менялось самочувствие немцев, недавних ревнителей всемирного Рейха, что происходило с их союзниками. Перед нами проходят солдаты болгарской, венгерской, югославской армий, партизаны, крестьяне, аристократы, демократы, коммунисты, фашисты. Пестрый спектр чувств, переломы взглядов, новое состояние умов — все это непредвидено, оно и лично, оно и дает представление о том, что творилось с целыми народами. Менялось отношение к советским солдатам, менялись взгляды и самих солдат.

Конечно, мы все тогда были охвачены жадной мести за бесчинства немецких оккупантов. Мечь грубая, бесчеловечная, переходила в чувство возмездия, а затем и в милосердие победителей.

«Записки» дают богатый исторический пейзаж «после битвы» тех лет. Конечно, Слуцкому повезло, перед ним проходили пестрые вереницы разноплеменных событий и судеб. Но великая заслуга автора в том, как использован весь этот материал; впечатление такое, что он ничего не упустил. Он не считался с запретом внутреннего цензора. Он писал о разгуле советского антисемитизма, мог сочувственно отнестись к белоэмигрантам, писал о нашей советской ограниченности, невежестве.

Более всего я завидовал всеохватной его памяти, его дальнозоркому глазу, тому, как добросовестно он запомнил, сохранил, записал свою войну. Завидовал, потому что четыре года моей войны и я тоже мог бы по-своему изложить, записать, ведь было пережито многое, а вот не сумел, не сделал, понадеялся на память, а она слишком быстро заросла. «Записки» Бориса Слуцкого — не только заслуга его самодисциплины, это еще и высокое чувство его ответственности перед историей, и свойство его таланта.

Слуцкий писал поражающе много. После его смерти стали публиковаться подборки стихов, десятки, сотни стихов. Вышли два больших сборника неизданного. Не то чтобы он писал в стол из-за каких-то цензурных соображений. Пришла та пора, когда напечатать, опубликовать — уже неважно. Важно написать. Пишешь, потому что пишется, поешь для себя свою песню. Поэзия переполняла его, он торопился записывать, словно бы стенографировал чьи-то голоса, диктующие ему.

Очевидно, и свои «Записки о войне» он мог при жизни опубликовать. Проза его так же требовала выхода, и он хотел еще многое сказать. Однажды мы гуляли с ним по Комарову, и он увлеченно рассказывал подробности Шахтинского дела, у него сложилась история этого первого процесса, с которого начался сталинский террор. Его рука с пером не поспевала за его талантом.

Наверное, следовало бы отшлифовать его «Записки», кое-что растолковать, расширить. Все так. Но в этом, неприбранном виде, в них ощущается сбивчивое дыхание пришедшего с войны

офицера, ожесточенного и счастливого, израненного и не знающего, как дальше жить, во всяком случае без прежних иллюзий. Одним из первых он понял, посмел сформулировать для всех нас взаимоотношения поэта и власти, когда написал:

*А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.*

Ничто, никакие литературные совершенства, не могут заменить свежесть восприятия тех лет, его «Записки» еще пахнут порохом, пылью дорог, солдатским потом, в них слышен лязг танковых гусениц, от них веет лихостью и страхом погибнуть перед днем Победы. И эти лица — лица и судьбы народов, их надежды... Они уже забыли, как все было, и мы, мы ведь тоже позабыли себя, оказывается, мы были куда лучше...





Записки о войне

*“В надежде славы и добра
я по-прежнему смотрю вперед без боязни,
что в большей мере, чем раньше,
свидетельствует о моем
врожденном оптимизме...”*

*Борис Слуцкий
(Из письма 1942 года)*



ВСЕ, чем жил этот человек в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оценками, все это было изложено читателю с достойной сдержанностью и прямотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за свою страну и свой народ.

Константин Симонов

ОСНОВЫ

НАКАНУНЕ ЕВРОПЫ

То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленных к сложным и отдаленным от врага формам борьбы, испытали внезапное желание: лечь с пулеметом за кустом, какой поплоче и помокрее, дожидаться, пока станет видно в прорезь прицела — простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча.

И было еще одно желание: под тем же кустом, помокрее и поплоче, подгребя сухих листьев под проношенные коленки, засунуть стандартный наган в рот (по-растратчицьи) или притиснуть его к лбу (по-офицерски) — и на две, на три, на четыре уменьшить официально положенную семерку пуль.

Диапазон официозности расширился: «Правда» печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой¹. Распространение получили две формы приверженности к существу: одна — попроще—встречалась у инородцев и других людей чисто советской выделки. Она заключалась в том, что существо было слишком разумным², чтобы стерли его немцы в четыре месяца от июня до ноября. Эта приверженность не колебалась от поражения, ибо знала она, что государственный корабль наш щелист, но знала также, что слишком надежными, плотничными гвоздями заколачивали его тесины. Вторую форму приверженности назовем традиционной. Она исходила из страниц исторических

учебников, из недоверия к крепости нашествователей, из веры в пружинные качества своего народа. Имена Донского, Минина, Пожарского — для инородцев западно чуждые, сошедшие с темных досок обрусительских икон, — здесь наливались красками и кровью. Две эти любви, механически слитые армейскими газетками, еще долго жили порознь, смешливо и враждебно поглядывая друг на друга. В Керчи Мехлис³ просматривал листовки, обращенные к полякам — солдатам немецкой армии. Мучительно картавя, хрипя, презирая, он тыкал в исчерканный текст чиновника своего. Кричал: «Где славянство? Почему нет «братья-славяне»? Вставьте сейчас же, я обожду».

Тогда еще никто не знал, что слово «славяне», казавшееся хитрой выдумкой партработников и профессоров, уже собрало в Белграде студентов и работников под знамена КПЮ⁴.

6 ноября 1941 года (возвращаясь после ранения из госпиталя — П. Г.) я проезжал через Саратов. Была метель — первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещенной радужными фонарями, продавалось мороженое — пятьдесят копеек порция — сахарин, крашеный снег, подслащенный и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках, и невидными ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей, и Саратов — последним углом, заудком ее.

На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб — темно-коричневый, свежесыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Теплый запах, окутывавший се в ноябрьской неморозной изморози, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Рос-

сия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.

На войне пели: «Когда я на почте служил ямщиком...», «Вот мчится тройка удалая...», «Как во той степи замерзал ямщик...». Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно *ямщицкие*. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?

ЭРЕНБУРГ

Идеология война, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко «состукивалось» с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.

Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург⁵, газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов «Правды» или «Красной Звезды». Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургянцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть. Иног-

да она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию⁶, — почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена ее жителям — фрицы, ее глаголам — выстоять, ее мерилам и законам. Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: «Знаете ли, я все-таки согласен с Эренбургом» — и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.

Эренбург не ушел, он отступил, оставшись «моральной левой оппозицией»⁷ к спокойной политике наших оккупационных властей.

Вред его и польза его измеряются большими мерами. Так или иначе, петые им песни еще гудят в ушах наших, еще ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели противопоставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы.

ГНЕВ

Пропаганда и рассказы освобожденных жителей, запах самого словечка «фриц», историческая нелюбовь к «колбасникам»⁸ обусловили специфическое отношение наших солдат к немцам — не презрение, не злобу, а брезгливую ненависть, отношение, равное отношению к лягушкам или саламандрам.

Борис
Слуцкий

Капитан Назаров, мой комбат, ландскхнет⁹ из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из автомата.

— Зимой 1941 года на Воронежском¹⁰ фронте взяли в плен сорок фрицев. В штаб армии привели двоих из них. Часть пленных убили штабные офицеры — из любопытства. Остальных заставили снять шинели — «щоб воши их не грызлы». Фрицы «потанцовалы» в открытом кузове, а потом померли потихоньку. «Ось мы идем и чуем — щось торохтит у кузове, як та мерзла картофля. Роздевылысь — а то фрицы, вже застыклы. Мы их повыкыдывали из машины, тай позакыдывали снігом».

20 февраля 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелонем пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки желтых трупов. Их крайняя истощенность свидетельствовала, что причиной смерти был голод; однако, достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять, что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся, февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимавшиеся с истощенных пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега — бесплатно. Я подал пленным несколько кусков и приказал страже немедленно напоить их. В окне югославский еврей в бараньей шапке, кричал скребущим по душе голосом: «Я хочу работать! Я не виноват! Я не хочу умереть с голоду!» Я знаю правительственные установки об обращении с пленными. Их выполнение срывают не жестокость, не мстительность, а лень. Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека.

Мне рассказывали один из разительных примеров этой разбойной доброты. Зимой разведчики поймали фрица. Везли его за собой три недели — в комендантской роте. Фриц был забавный и первый в дивизии. ■

Его кормили на убой — тройными порциями пшенной каши. Наконец встал вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица накормили досыта — в последний раз, а потом пристрелили в амбаре. Этот пир перед убийством есть черта глубоко национальная.

Однажды на командном пункте дивизии офицер допрашивал немца. Его знания языка строго ограничивались кратким четырехстраничным разговорником. Он беспрестанно лазил в разговорник за переводами вопросов и ответов. В это время фриц дрожал от усердия, страха, необычайного холода, а разведчики сердито колотили по снегу промерзшими валенками. Наконец офицер окончательно уткнулся в разговорник. Когда он поднял голову, перед ним никого не было. — «А куда же вы девали фрица?» — «А мы его убили, товарищ лейтенант».

Зимой, после приостановки наступления, фронт стабилизируется. На позициях воцаряется тишина. Делать нечего. Живешь — от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Через нейтральную полосу лениво переругиваются рупористы¹¹. В землянках режутся в карты и рассказывают похабные анекдоты. В такое-то времечко командир дивизиона, мой знакомый, пережил необычайные приключения. В стереотрубу он заметил, что из-за дома вышел немец, — толстый, наверное, рыжий, с котелком каши в руках. Кашу есть собрался. Комдив немедленно позвонил на огневые, указал координаты, приказал израсходовать на фрица 18 снарядов. Все они разрывались «почти рядом»: «Он в окоп, я по окопу, он в траншею — я по траншее, он в дом — я по дому. Прямое попадание. Смотрю: где фриц? А он уже выскочил из-под известки, бежит, в руке котелок. Так и удрал в блиндаж. Вот, наверное, пообедал со вкусом».

Борис Слуцкий

■ Жестокость наша была слишком велика, чтобы ее можно было оправдать. Объяснить ее можно и долж-

но. В октябре 1944 года я вещал с горы Авала — огромного холма под Белградом, увенчанного гранитным капищем неизвестному солдату. По склонам Авалы выходили из окружения три разбитые немецкие дивизии. Мою машину прикрывали партизаны. Пока грелись аккумуляторы, я разговорился с солдатом из русской роты — бывшим сельским учителем из Западной Сибири, немолодым уже человеком с одухотворенным и бледным лицом. Вот что рассказал мне учитель о Кельнской яме:

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

*Нас было семьдесят тысяч пленных.
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим безмолвно и дерзновенно.
Ржавеем от голода в Кельнской яме.*

*Ногтями, когтями, камнями — чем было,
Чего под рукою обильно, довольно,
Мы выскребли надпись над нашей могилой,
Письмо бойцу — разрушителю Кельна!*

*«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»*

*О, немецкая нация, как же так!
О люди Германии, где же вы были?
Когда меднее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме от голода выли.*

*Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу. Ни шагу».*

*Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.*

*О, вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей —
Смотрите, как мясо с ладопей выев,
Встречают смерть товарищи наши!*

*Землю роем когтями — ногтями,
Зверем воем в Кельнской яме,
Но все остается, как было, как было! —
Каша с Вами, а души с нами*.*

Так какие же сроки нужны для того, чтобы забыть о Кельнской яме? Какие горы трупов, чтобы ее наполнить? Кто из нас, переживших первую военную зиму, забудет синенький умывальный в детском лагере, где на медных крючках немцы оставили аккуратные петельки, — здесь они вешали пионеров, первых учеников подмосковных школ. Нет, наш гнев и наша жестокость не нуждаются в оправдании. Не время говорить о праве и правде. Немцы первые ушли по ту сторону добра и зла¹². Да воздастся им за это сторицей!

ГЕРОИЗМ

Неисповедимы пути становления героического. Пусть эту главу увенчает рассказ о том, как брали рошу «Ягодицы».

■ Борис Слуцкий

* Стихотворение «Кельнская яма» печатается в том виде, как оно представлено в рукописи 1945 года. В дальнейшем поэт придал ему новую редакцию.

КАК БРАЛИ РОШУ «ЯГОДИЦЫ»

Этот рассказ запоминается с первого чтения. На Западном фронте была деревня Петушки¹³ — 62 двора, одна церковь, два магазина. За эту деревню легло 30 тысяч наших солдат — цифра, почти бородинская по своему значению¹⁴. С юга Петушки прикрывались тремя лесочками: рощей «Круглая», рощей «Плоская» и рощей «Ягодицы». В роще Ягодицы и разыгрался главный бой. Однажды утром командарм пятой, очаянный цыган Федюнинский¹⁵, прочитал очередную оперсводку, выругался и приказал комдиву: «Через два часа доложить о взятии рощи “Ягодицы”».

Комдив переадресовал приказ в полк. Пока шифровальщик корпел над телеграммой, срок сократился до 60 минут. Командир полка, помедлив чуток, позвонил комбату. Это был унылый и меланхолический человек. Вверенный ему личный состав на протяжении последних двух недель не поднимался выше цифры семьдесят, из коих пятнадцать процентов составляли писаря из строевой части, учитывавшие персональные потери. Роты уже были слиты воедино, и комбат командовал сам — четверт — поваром, ординарцем, и одним из — старшим сержантом.

Все они сидели на опушке рощи «Плоская», терли сухие листья на сигаретки и изредка постреливали в «Ягодицы». Комбат долго муслил карандаш, распиваясь в прочтении. Потом проговорил задумчиво: «Через 30 минут доложить о взятии рощи “Ягодицы”». Его войско спало, утомленное неясностью положения. Растревоженные командирским каблуком, солдаты встали, потянулись, почухали тремя пятернями три затылка и приступили к выполнению приказа.

Сначала старший сержант дал артподготовку — пять выстрелов из противотанкового ружья. Вороны с криком сорвались с обкусанных осколками деревьев.

Противник молчал.

Потом, набрав в легкие воздуху, войско одним махом форсировало двести шагов, отделяющие «Ягодицы» от «Плоской». На опушке с шумом выпустило воздух и прижалось к траве.

Противник молчал.

Тогда, осмелев, повар вскричал «Ура» и побежал по роще. Немцев нигде не было. Еще два дня тому назад они ушли в деревню, утащив с собой раненых и убитых. Так была взята роща «Ягодицы».

Всех трех солдат представили к званию Героя Советского Союза. И не нашлось человека, который бросил бы камень в их окровавленный огород.

* * *

Неисповедимы пути становления героического.

В 1941 году сдался в плен лейтенант — назовем его Рахимов¹⁶ — казах или узбек, незадолго до войны окончивший нормальное военное училище. То было время, когда немецкие генералы решили, что они римские проконсулы¹⁷. Формировались батальоны, отряды, дивизии из солдат девяти — пятнадцати национальностей Советского Союза. По смоленским колхозам шныряли конники в неформенной одежде.

В селах они громко пели: «Соловей, соловей, пташечка...», но также и «Катюшу» и другие советские песни. Из стогов на знакомые звуки выползали тощие окруженцы. Их рубали шашками.

Рахимов дал согласие командовать среднеазиатским батальоном четырех или пяти национальных рот — казахи, узбеки, таджики. К нему приставили надзирателя. Немецкого офицера. В ротах разместили по фельдфебелю. Во всем батальоне было не более

пяти немцев. Полтора года туркестанцев учили, на-слаивали немецкую тактику на красноармейское воспитание, кормили отличным солдатским пайком — сладким супом, консервированным сыром,— за это и проданы были голодные красноармейские души. О политике говорили мало. Между Рахимовым и командирами рот установились восточные отношения — молчаливой, незадающей вопросы покорности.

В августе 1944 года немцы выбросили батальон, дислоцировавшийся тогда в Румынии, на передовую. Шла Кишиневская битва. Фронта не было. Противники искали друг друга. Рахимов решил использовать момент для перехода на сторону Красной Армии.

Посоветовавшись, командиры рот решили, что каждый возьмет на себя своего немца. В последний момент, когда до передовой оставалось три километра,— немцам перерезали глотки. Офицера убивал сам Рахимов.

Солдаты узнали о происшедшем через несколько минут. Приняли с молчаливым одобрением. Темнело; батальон двигался вдоль дороги, заметно приближаясь к линии фронта. Шли свернутыми колоннами. Впереди на конях ехал Рахимов с офицерами. Внезапно послышался русский окрик часового; Рахимов ответил: «Свой!»— и проехал вперед. С этим отзывом и в более спокойные времена переходили фронт и доходили до больших штабов.

Наконец, часовой разглядел немецкие автоматы и зеленую униформу, бросил винтовку, без памяти побежал в деревню. Был остановлен, задержан. В деревню вошли затемно. Рахимов с товарищами беспрепятственно подъехали к дому, где квартировал командир полка. Вошел. В комнате было трое: подполковник, ординарцы. За Рахимовым затолпились его черномазые офицеры.

«Товарищ подполковник, разрешите обратиться!» — «Говорите». — Подполковник поднял голову. Пе-

ред ним стоял немецкий офицер, четко держал руку под козырек.

«Разрешите обратиться, товарищ подполковник!» Тот сидел бледный, опустив голову в тарелку. Повисли руки у ординарца.

Рахимову стоило большого труда объясниться. Наконец, комполка зашевелился, позвонил генералу, а куда предложил немедленно разоружить батальон. Прихавший генерал отменил это приказание. В ту же ночь батальон бросили в бой. Через несколько дней туркестанцы рассеялись по госпиталям, и новые красноармейские книжки нивелировали их удивительные биографии.

Самого Рахимова оставили при штабе дивизии — помощником начальника разведотделения.

Вот еще один «удивительный случай доблести и героизма».

Зимой 1942—1943 года к нам попали немецкие штабные архивы. Среди них нашли опросный лист переводчика разведотдела этой же дивизии, взятого незадолго до того в плен немцами. Это был молодой еще человек. Немецкий язык изучил в колониях на Украине. До войны работал в средней школе преподавателем. В армии не пошел дальше сержанта.

Из опросного листа было видно, что пленный дезинформировал контрразведчиков по всем остальным вопросам. Был бит, пыган, что фиксировалось в протоколе. Упорствовал, лгал, молчал, настаивал на своем.

Судьба его неизвестна.

* * *

Неисповедимы пути становления героического.
Под Москвой солдат среди бела дня взбирается на немецкий танк и обухом загибает пулемет. При этом

матерится и дурашливо стучит каблуком по стальной крыше.

Сочиняя по политдонесениям историю 20-й гвардейской дивизии, я установил, что здесь дважды предвосхитили потрясший Сталина подвиг Матросова. В одном случае это сделал еврей-одессит, штабной парикмахер, изгнанный за лукавство на передовую. Писаря оглуляли геройства ежедневной, нормированной «героикой» политдонесений.

В той же 20-й дивизии сержант, юноша, которому оторвало руку по локоть, поднял ее над головой уцелевшей рукой и пошел в бой во главе своей роты.

В то же время многие танкисты горели в танках, потому что знали: потерявших материальную часть отправляют в нелюбимые и опасные пехотные роты.

Зимой 1942 года немецкие снайперы отрезали передовую от штаба батальона и кухню. Образовалась «долина смерти» — обычная для Западного фронта, где лесистость носит пунктирный, прерывистый характер. За день выбыло из строя четверо неосторожных связистов. Солдаты доели сухари, дососали грязный сахар, начали грызть кожаные сыромятные ремни — только бы заморить червячка.

Комиссар батальона вызвал охотников — кому не жалко ободрать пузо, проползти к передовой с термосом горячей каши. Откликнулся писарь, провинциальный бухгалтер, совсем плюгавый человечек. Он сказал: «Термос я отнесу, конечно, но вы, товарищ комиссар, постарайтесь уж — выхлопотайте мне хоть медальку». В то время медали еще были в цене. Комиссар с охотой согласился. «Термос-то, конечно, доставлю, товарищ комиссар, только вы мне расписочку выдайте — так мол и так — солдат Андрюшкин медаль заслужил. Получив расписку, Андрюшкин засунул ее за пазуху и довольный пополз с термосом.

* * *

В октябре 1941 года партия перевела героизм из категории «мораль» в категорию «право».

Приказ № 270¹⁸, предлагавший любому красноармейцу казнить любого начальника, отдавшего приказ о сдаче в плен, и самому занять его место, *обоснованно предполагал присутствие титанов*. Отсюда выросло партизанское обычное право, когда Федька Гнездилов, солдат, бывший цирковой фокусник, держал комиссаром медсанбата своего шеститысячного отряда дивизионного комиссара и ругательски ругал его за нерасторопность.

Запрещение сдаваться в плен, немыслимое в любой другой армии, привело к тому, что окружение было не только катастрофой, но и толчком к образованию мощных лесных соединений. Приказ выполнило меньшинство, но меньшинство, достаточное для моральной победы. В штурмовых батальонах¹⁹ еще долго встречалось обиженное начальство. Они сдались в плен, порвали партбилеты, чтобы сохранить себя для коммунизма и даже для борьбы в эту войну «в более благоприятных условиях». Их ведь не предупреждали о том, что нормы героизма будут настолько повышены.

Так атлантизм²⁰, расколовший Югославию и Польшу, был предупрежден у нас военной юстицией и приказной пропагандой.

Так вот с чем мы пришли в Европу!

В Румынии пьяный лейтенант, обобравший румынского майора, долго тряс его за грудки и покрикивал: «А ты в Одессе был? А ты в Европе был?»

Очень много, оказывается, значило вовремя побывать в Одессе.

БЫТ

Эта глава о быте наших войск в Европе включает в себя разделы: пища, деньги, фронтовые женщины.

Она должна быть дополнена разделами о жилище, одежде, письмах из дому, оружии и многом другом.

Менее высокий жизненный стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страсотерпчеству — пройти через Одессу, «быть» в ней так, как советский лейтенант, а не как румынский майор.

Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты.

Зимой 1941—1942 годов под Москвой наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием победила немецкую неприспособленность к снежным нормам. В 1942 году солдатские газеты прокричали об утвержденных Гитлером проектах благоустроенных солдатских блиндажей, без выполнения этого обещания немцы не стали бы воевать еще зиму.

Почти всю войну кормежка была изрядно скудной. Люди с хорошим интеллигентским стажем мечтали о мире, как о ярко освещенном ресторане с пивом, с горячим мясным. Москвичи конкретизировали: «Савой», «Прага», «Метрополь».

Офицерский дополнительный паек вызывал реальную зависть у солдат.

В окопах шла оживленная меновая торговлишка! Табак на сухари, порция водки на две порции сахара. Прокуратура тщетно боролась с меной.

Первой военной весной, когда подвоз стал маловероятен, стали есть конину. Убивали здоровых лошадей (нелегально); до сих пор помню сладкий потный запах супа с кониной. Офицеры резали конину на тонкие ломти, поджаривали на железных листах, до тех пор пока она не становилась твердой, хрусткой, съедобной.

Старшинам, поварам, кладовщикам — завидовали.

Помню состязание поваров голодной весной 1942 года. В полк пришло пополнение. Бледненский москвич с тонкими руками назвался поваром и потребовал использования по специальности. Навстречу ему вывалился повар — блестящий от сытого жира. Жюри составляла толпа офицеров и штабных солдат. Повар был бесконечно уверен в своей победе.

— Ну, расскажи-ка мне рецепт цыпленка-антрекот.

Претендент понес явную чушь.

— Птишан знаешь? Котлеток сколько сортов знаешь?

Претендент тоскливо молчит. Под общий смех его изгоняют в стрелковую роту.

Жестокие антиворовские законы войны, казни шоферов за две пачки концентратов были вынуждены голодной судорожностью, с которой обирал себя тыл, чтобы подкормить фронт.

Летом, на минированных полях у Гжатска, в нейтральной междулинейной полосе, выросла малина. Две армии лазали за ней по ночам.

Той же весной в госпиталя часто привозили дистрофики с нулевым дыханием — старичье из дорожных батальонов. Во время двенадцатикилометрового перехода в мартовскую грязь полки теряли по несколько солдат умершими от истощения.

Не только казахи и узбеки, но и заведующие и управляющие из МПВО²¹ в арtpолку разбавляли свою кашу многими литрами воды — болталось бы хоть что-нибудь в брюхе.

Серьезное улучшение питания началось с приездом на сытую, лукавую, недограбленную немцами Украину.

Летом 1943 года, в деревне Хролы под Харьковом, я был удивлен тем, что рота отказалась от ужина, накушавшись предложенными прятавшимися по погребам крестьянами огурцами, медом, молоком.

В марте 1944 года, догоняя ушедших к Днестру немцев, мы ворвались в виноградную зону. Сорокакилометровые переходы сделали это совершенно внезапным. Люди, получавшие по сорок два грамма замерзшего спирта с 1 ноября по 1 мая, дорвались до разлитого моря виноградного молодого невыделанного вина. В Цебрикове, брошенной немецкой колонии, с группами шестикомнатных домов, в подвале нашли дюжину бочек. Разбили и долго еще выбирали ведрами, вытягивали губами восемьдесят сантиметров не просачивавшегося сквозь цементный пол вина.

В эти же дни немцы провели успешную ночную атаку на перепившуюся, буквально на глазах у противника, 52-ю дивизию. По-смешному, в кальсонах, побежали штабные офицеры. Тогда Мкртумян приладил на соломенной крыше худой избенки, которую ему выделили, трубу и заорал с отчаянным армянским акцентом: «Куда побежали? Стыдно, товарищи офицеры!» — и штаны угрюмо застегивались, собирались в кучки, организовывали сопротивление. Проходивший мимо генерал подивился, но, расспросив, — одобрил.

Зимой 1944—1945 годов сплошь и рядом пехота опрокидывала кухни, вываливала курганы каши на грязный снег — хоть в кашу и закладывали тогда по шестьсот граммов мяса на человека, а не тридцать семь с половиной граммов непонятного, дворянского яичного порошка.

Ловили фазанов в барских имениях, кур и гусей в крестьянских домах, весело скручивали им шеи, подолгу несло из блиндажей вкусным жареным чадом.

Дивизии брали склады с шоколадом, голландским сыром, рождественскими посылками, и много дней таскали этот шоколад солдаты 73-й, набравшие его на дороге к Белграду. В самом Белграде была пропасть огромных килограммовых коричневых консервных банок — со сливочным маслом (№ 50 на доньшке), с печенкой (№ 48). ■

Когда в Будапеште и Вене солдатские кухни раздавали пайковую кашу жителям, это объяснялось не только жалостью к голодным враженятам, не только невозможностью обжираться на глазах у истощенных блокадой детей, но и избытком, царившим в интендантах.

Заместители по тылу, непредусмотрительные начальники АХО²², перестали заискивать у следователей и прокуроров — достаточно было протянуть руку, чтобы покрыть любые товарные недостатки. Впервые за эту войну криминальными считались товарные излишки.

Уже в 1943 году (летом) мы перестали испытывать нужду в овощах. Под Харьковом фронт проходил в бахчах и огородах. Достаточно было протянуть руку за помидором, огурцом, достаточно разжечь костер, чтобы отварить кукурузы. В это лето продотделы впервые прекратили сбор витаминной крапивы для солдатских борщей.

Под Тирасполем началось фруктовое царство. Противотанковые рвы пересекали яблоневые, грушевые, абрикосовые сады — колхозные с этой, монастырские и помещичьи с той стороны Днестра. Старшины таскали в роты, защищавшие степные участки, цыбарки²³ с яблоками. Эвакуированный Тирасполь был завален осыпавшимися плодами, которые некому было убирать. На приречных холмах чернели вишни. Компот и кисель прочно вошли в солдатское меню.

Через месяц, над Суворовой Могилей²⁴, — я впервые поел винограда. Немцы интенсивно обрабатывали наше расположение, и тянущая оскоми́на во рту странно ассоциировалась со свистом мин, буравивших желтый песок.

По пути от Харькова к Днепру немцы разгромили все бахчи, прострелили или проткнули штыками каждую дыню, тыкву, арбуз, оставив их догнивать. Однако огурцов и помидоров было слишком много, и у нас было на чем отыгаться.

Помню еще вздутые трупы волов на околицах бессарабских деревень — немцы собирали и расстреливали их перед отступлением.

В Болгарии и Югославии кулинарная мысль, усердие интендантов дошли до ввоза из России икры, настоящей московской водки — конечно, для генеральских столов.

На праздничных офицерских обедах, где-нибудь в Венгрии, подавалось по восемь мясных блюд, шесть видов борщей и т. д. Начальство в военторгах переставало считаться презируемой профессией.

В то же время в Вене за пять буханок хлеба можно было купить золотые дамские часы.

Штабной врач Клейнер жаловался мне, что тыловики, идя по линии наименьшего сопротивления, перегружают рационы огромными порциями мяса и вина, угрожающе перерождающих ткани.

На больших перегонах за дивизиями шли большие тысячные гурты скота. Другие тысячи трясли хвостами в обратном направлении — их гнали в украинские и смоленские колхозы. От этих европейцев пойдут, наверное, неожиданные поколения рьжих коров и грузных битюгов с короткими хвостами. Повозочные не уважали этих «мадьаров» и безжалостно лупили по хребтам.

В полуброшенной швабами Воеводине²⁵ бродили дичающие гурты свиней, уток, индюков.

Основательно объев заграничное животноводство (в Венгрии и Австрии в 1945 году пришлось законодательно запрещать убой скота), мы подкормили солдата, избавились от дистрофиков и наели мяса, которого с избытком хватит на многие месяцы восстановительного периода.

* * *

В переулке, на солнышке, солдаты играют в карты, на деньги. Проходящий офицер делает им замечание. В ответ ему ленивое: «Пеньги не деньги²⁶». «Пеньги» действительно не считались деньгами. Солдату было почти невозможно купить на них что-нибудь — военторги не достигали передовой. Солдат не покупал, а брал: брал много, больше, чем это выходило по расчету на «пеньги».

Впервые наши столкнулись с инвалютой во время Ясской операции. В разбитых казначейских ящиках шуршали миллионы лей²⁷, сотни тысяч марок²⁸. У каждого пленного фрица была припрятана заветная сотня марок, с которой он расстался бы куда охотнее, чем, скажем, с очками.

Но было отчетливое сознание, что вместе с Гитлером и Антонеску²⁹ канут в бездну марки и леи. Шли не смирять, не завоевывать — сметать. Кроме того, реального представления о ценности инвалюты не было. За окопные годы все позабыли о лавках с витринами, где можно купить, получить сдачу. На сберкнижках мертвым грузом лежали десятки тысяч рублей. Их легко отдавали — на танковую колонну, на сирот, займы тыловым друзьям. Даже старшие офицеры не знали, что такое лея. 28 августа, когда наша бригада подъезжала к госгранице — Дунаю, Недоклепа остановил машину и свистом подозвал копавшихся в поле крестьян. Он был самый опытный из нас: служил в Бессарабии в 1940 году.

Крестьянам было объяснено, что ходить будут не леи, а рубли. Посоветовано — обменять леи по курсу 100:1 (до сих пор не знаю, откуда взялась эта пропорция).

Борис
Служкий

Бессарабцы сдались и выдали нам пачку купюр, вызывавших подозрение своей новизной и большими цифрами. В первой же пограничной лавчонке, соблазненный капитализмом, я сдуру купил за леи три боль-

ших куска туалетного мыла. Разведчики, которые носили по одиннадцать часов на левой руке — от плеча до запячья — и тикали ими на ходу на одиннадцать разных голосов, затосковали, узнав, что презренные ими лей имеют реальную покупательную способность. Уже с Констанцы начался отъем лей у гражданского населения.

* * *

На командном пункте 60-го полка многие месяцы жили две девчонки лет двадцати—двадцати двух. Они чистили картошку для офицерских столовых, носили сальные ватные брюки, жили в сырых землянках, спали со всем персоналом штаба по очереди. Относились к ним с добродушным презрением. Звали одну Петькой, другую — Гришкой. У них была кошачья привязанность к привычному месту, своеобразный патриотизм полкового масштаба.

Думаю, что у них не было бордельной, машинальной развратности. Простительная гуляшность горожанок с фабричной окраины богато дополнялась нежностью, товариществом и забитой, жалконькой женственностью.

Дурацкая ассоциация соединяет этих девушек с Фюрнбергом³⁰, секретарем ЦК КП Австрии, чистым человеком, перед которым я и по сей час готов ломать шапку.

Аскет, чистый человек, он был настоящим примером политического, партийного деятеля, как какой-нибудь майор Вишневский, парторг 55-го полка, имевший «душу» и «подход», был положительным образчиком политического работника.

В 40 лет у него был молодой пыл неофита. Один из крупнейших функционеров Европы, он организовывал

ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

австрийские партизанские батальоны в Словении, курьерствовал между Тито и Москвой, недоедал, ходил в английской униформе, полученной у партизан, договаривался с югославами о спорных территориях и демаркационных линиях, достойно, чуть насмешливо спрашивал меня, примут ли его мои начальники. Стыдился и гордился своим еврейством. В Праге у него была девушка, о которой он ничего не слышал в течение всей войны. Он тосковал невозможностью урвать у партии два дня, съездить в Прагу, посмотреть, узнать.

РУМЫНИЯ

ОБРАТНОЕ ВЛИЯНИЕ

Все сводки времен заграничного похода тщательно учитывают обратное влияние Европы на русского солдата. Очень важно знать, с чем вернутся на родину «наши» — с афинской гордостью за свою землю или же с декабризмом навыворот¹, с эмпирическим, а то и политическим западничеством?

Немцы методами пропаганды ставили вопрос: за чем воевать на чужой земле? А еще больше привлекали внимание к мнимым и фактическим преимуществам европейской жизни. Специальная листовка была посвящена противопоставлению венгерской деревни колхозному строю. Был ряд фактов дезертирства наших солдат, особенно из бывших пленных. Дезертиры пытались осесть с новыми женами.

Однако наиболее важное в отношении русского солдата к загранице выразил шофер Довгалеv, с удивлением спрашивавший меня в Констанце: неужели этот завод частный?

Наиболее веским оказалось сознание несправедливости европейского социального уклада, гордое противопоставление ему. Где-то в Австрии жители недоумевали по поводу рассказов нашего солдата, бывшего сапожника, наговорившего России три короба комплиментов. Конечно, тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами, оправды-

■ ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

вая себе эту ложь именно *справедливостью* жизни в России.

Европейские парикмахерские, где мылят пальцами и не моют кисточки, отсутствие бани, умывание из таза, «где сначала грязь с рук остается, а потом лицо моют», перины вместо одеял — из отвращения, вызываемого бытом, делались немедленные обобщения.

В сводке сообщали нам, что румынские буржуа рассчитывают на «капитализацию» идеологии красноармейца и на то, что, вернувшись, они введут у себя капиталистические порядки. Однако именно в Румынии наш солдат более всего ощущал свою возвышенность над Европой.

В Констанце мы впервые встретились с борделями.

Командир трофейной роты Говоров закупил один из таких домов на сутки. Тогда еще рубль был очень дорог, существовал «стихийно найденный» паритет: «один рубль равняется сто лей», — вполне символизировавший финансовую политику нашего солдата. Характерно, что курс завывшался также и в Болгарии, а в Югославии он наоборот был занижен до того, что за один рубль там брали 9,6 недичевских динаров² и солдаты переплачивали «из уважения».

Закупив бордель, Говоров поставил хозяина на дворях — отгонять посетителей, а сам устроил смотр нашим проституткам. Их было, кажется, двадцать четыре. «За свои деньги» он заставил их маршировать, делать гимнастические упражнения и т. д. Насытившись, Говоров привел в дом свою роту и предоставил женщин сотне пожилых, семейных, измучившихся без бабы, солдат.

Первые восторги наших перед фактом существования свободной любви быстро проходят. Сказывается не только страх перед заражением и дороговизна, но и презрение к самой возможности купить человека.

Борис
Слуцкий

■ Капитан, в Бухаресте, приводит в гостиницу шесть

женщин, раздевает их. «Кто из вас проститутки?», потом устраивает смотр и злобно бьет каблуком в обезволосенные места.

Многие гордились былями типа: румынский муж жалуется в комендатуру, что наш офицер не уплатил его жене договоренные полторы тысячи лей. У всех было отчетливое сознание: «У нас это невозможно».

Наверное, наши солдаты будут вспоминать Румынию как страну сифилитиков.

На многих вывесках румынских врачей скромное «внутренние болезни», «первый хирург городской больницы» подбираются впечатляющими литерами «сифилис».

От сифилиса лечат чуть ли не все врачи — и стоматологи, и окулисты. Сифилис давно перешел из разряда моральных несчастий в категорию финансовых неудач. Вылечить его — недорого. От того больных много, и в городе чувствуется прялый, сладковатый, запах болезни.

Конец войны, естественно, встретил нас множеством промтоварных эрзаций. Цилиндры, шелка, лезущие после первой стирки, сахарин в пирожных — все это воспринималось как подделка, фальшь, ложь. Даже такие полезные вещи, как деревянная обувь, считали жульничеством. Традиционное почтение к «заграничной вещи» было подорвано. Наиболее характерно это для Румынии. Интересно, как шли эти процессы в Германии или Финляндии, где много прочных и хороших вещей.

Разыскивая компоненты, из которых складывалось влияние Европы на русского человека, не забудем о «плюсовых» факторах. Большинство болгар и югославов открыто восхищались Россией, сплошь и рядом даже переоценивая ее. Преклонение перед социальным строем и, особенно, перед военной мощью России наблюдалось повсюду. Солдат чутко это учитывал.

Нельзя забывать, что мы побывали в довольно паршивой Европе, ее Пошехонье³, с румынским беспapo-жьем и венгерским безземельем.

Степень неосведомленности Европы о России была обидно велика. Это оскорбляло и озлобляло. Удивлялись нашему знанию простейших вещей из местной жизни — это в то время, когда во всех красноармейских газетах печатались справки: «Болгария», «Румыния», «Венгрия». В то же время охотно сообщали нам ворох всякой клюквы о России.

Как ни мизерно было то, что мы знали о них, они знали о нас еще меньше и хуже.

ЕЩЕ ЦАРЕНОК

Со всех витрин на нас презрительно поглядывал 24-летний королек⁴ всей Румынии. Унаследовав элфантизм от отца и последствия гонореи от матери, этот родственник всех европейских монархов был очень красив — юный эсэсовский лейтенант, сероглазый, с жестоким взглядом. Быть может, его троюродные братья — Гогенцоллерны-Зигмарингены⁵ в самом деле служили в немецких войсках. В детстве он много болел, поздно научился разговаривать. Для него создали специальную школу — шестнадцать детей, фонировавших его тугие успехи. Был упрям и зол. Видел, как его беспутный отец бросил королеву и открыто жил с мадам Лупеску — еврейкой. Говорят, в шестнадцать, он открыто потребовал у отца гитлери-зации внешней политики. Когда тот отказал, Михай бросился на него с ножом. Стоявшая поблизости королева мать прикрыла короля своим телом, что и послужило (апокриф) причиной ее смерти.

Борис
Слуцкий

В 1945 году он хотел жениться на английской принцессе, но такой брак оказался слишком политичным для союзной контрольной комиссии. Месяцами не принимал своего премьера. При подготовке аграрной реформы многократно тянул с мелкими изменениями. Грозе⁶ надоели нашептывания придворных, и он потребовал, чтобы их выгнали из кабинета. Через полтора часа они расстались. Гроза с подписанным законом. Король со слезами на глазах. Когда солдаты увели у него двух рысаков, жаловался Сусайкову⁷: «В Румынии один король, и вы не можете его охранить».

СОЮЗНИЧКИ

В Констанце, в жаркий летний день, когда все население спасается от зноя в приморских трактирах, произошел любопытный случай. Капитан Красной Армии, напив и наев в кабачке на крупную сумму, пошел, не заплатив, к выходу. Трактирщик бросился ему наперерез. Капитан сообщил, что он победитель и платить не будет. Резонер-трактирщик отметил, что он уже выплатил государству свою долю лей, как гражданин побежденной страны, и вовсе не хочет платить вторично. Внезапно в эти экономические трения, происходившие при гробовом молчании трех сотен цивильных румын, вмешался английский офицер. Он спросил у хозяина, сколько должен господин капитан — пятнадцать тысяч лей. Деньги были немедленно уплачены, после чего англичанин отправился к своему столику, провожаемый настоящей овацией. Капитан, вареный, пошел к выходу. Вслед ему свистел и улюлюкал весь зал. Этот случай получил широчайшую огласку, стал хрестоматийным анекдотом послевоенной Румынии.

■ ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

Противопоставляя англичан советским офицерам, румынские буржуи указывают, что последние безъязычны, в то время, как англичане знают язык. Какой же язык — английский? Да, но ведь это международный язык! Тоска по англичанам очень широких кругов европейской буржуазии, мещанства, интеллигенции проявлялась как в лирической, так и в политической формах. Английский король на календарях и фотоснимках попадал в самую неожиданную компанию — со Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем и бесспорным Михаем. Англичанам прощали даже террористические бомбардировки жилых кварталов. Ожидали их примерно так, как ждала губернаторская Москва в 1918 году въезда генерала на белом коне. Все опросы, проводившиеся мною в Румынии, Венгрии, Австрии, обычно давали следующие результаты: двадцать процентов населения предпочитало русскую оккупацию союзнической. Не более того. Самые оптимистические обкомовцы называли двадцать пять процентов. Мародерства понижали эту цифру, а увеличение хлебного пайка повышало ее. Характерно, что она почти точно совпадала с количеством голосов, которые местные коммунисты предполагали собрать на выборах.

Симпатии к американцам носили менее определенный характер. Сомневались в их решительности. Впрочем, летом 1945 года ходили упорные слухи о том, что США предлагали нам триста миллионов долларов, всю сумму репараций, за очищение Румынии. Несомненно, что политика инфлирования леи, проводившаяся крупной буржуазией, исходила из того, что инфляция заставит склониться перед золотым тельцом и занять фунты под политические проценты.

Борис Служкий

В Граце английские автомашины окружали жалующиеся и восхищающиеся австрийцы. Штирийские девушки были куда менее суровы к английским офи-

церам, чем к нашим. В комендатуру неоднократно обращались бывшие английские пленные с ходатайствами о пропуске в английскую зону — «для меня и жены-австрийки».

В мае 1945 года, когда мы гнались за надувшими нас с капитуляцией немцами, девушки, разъезжавшие на реквизированных к нашему изумлению велосипедах, спрашивали меня, кто мы — англичане или русские. С пятого раза я начал отвечать — португальцы, что вызвало, впрочем, некоторое недоверие. В отношении румынской (и вообще европейской) буржуазии к нашему социальному опыту сквозило: хорошо, да не для нас, мы здесь как-нибудь сами, по-своему.

ДВЕ АРМИИ

Летом 1945 года произошло два случая, иллюстрирующих отношения между победившей и побежденной армиями. По улице гуляет румынский полковник с дамой. Мимо, не приветствуя, проходит сержант. Полковник наотмашь дважды бьет сержанта по щекам. На все это глазеет праздная нарядная румынская толпа, фланирующая по улице ради прохладного вечера. Далее темп баллады обостряется. Сержант срывает автомат, и полковник падает, разрезанный надвое очередью. Сержанта сволокли в трибунал, где он получил, кажется, десять лет реального срока — так военюристы называют отсидку в тюрьме, противопоставляя ей «параллельные штрафные роты». Все открыто выражали ему свое сочувствие. Наш солдат резко различает драку — явление обоюдное и рукоприкладство, мордобой, который всегда предполагает несправие того, кого бьют. За рукоприкладство бросали за борт офицеров в 1918 году. Во все

периоды этой войны наши солдаты реагировали на рукоприкладство болезненнее, чем на другие ущемления. Борьба с ним велась довольно эффективно.

Второй случай. На такой же людной улице румынский полковник проходит мимо нашего сержанта. Сержант останавливает его, жестко кричит ему: я победитель или что-то вроде этого,— и заставляет трижды пройти мимо себя, держа руку под козырек.

Летом 1945 года в Крайове приветствовали друг друга не более двадцати процентов советских и румынских офицеров. Румыны в три-четыре раза чаще, чем наши, иногда — старшие младших. Тем не менее, имели очень большое распространение случаи неприветствования румынами наших старших офицеров. Отношения между обоими корпусами были очень холодными. Почти нигде не появлялись вместе, хотя довольно много румынских офицеров сносно объяснялись по-русски. Летом началась массовая распродажа румынам вывезенных из Венгрии и Австрии вещей. Продавали за половину, за треть цены, хотя слишком опрометчивых продаж не было — очень велика была конкуренция среди покупателей, слишком известны цены. Мотоциклы продавались за триста тысяч лей, набор покрышек также. Хорошо шло все — от ковров до старых брезентовых сапог (шесть тысяч лей). Изредка, с опаской сплавляли автомобили. Значительная часть выручки немедленно пропивалась. Буржуа, вообще отрицательно относившиеся к русским, приветствовали спекуляцию и поощряли ее. В сводках значились их мнения: русские продают хорошие и дешевые вещи. Плохо только то, что они изредка отбирают проданное. В этот период благодетельными были посылки, так как в противном случае все наши «репарации с применением частной инициативы» закончились бы переходом чемоданов из рук неосмотрительных еврейцев в руки осмотрительных.

ПОДОПЛЕКА ПЕРЕВОРОТА

Префект «Бухареста», Николай Александрович Челак, говорит по-русски с отличным дворянским прононсом. Даже галлицизмы его, усадебного пошиба, легко ложатся в русскую речь. Он рассказывает о перевороте 23-го августа⁸. После долгих прений все было намечено на 18 августа. Удар румынских дивизий с тылу должен был предсказать и предпринять Ясскую операцию. В последнюю минуту король испугался. Это слабый недодегенерированный юноша, вырожденец с ног до головы. Придворные ассоциируют его с Петром Великим⁹. Не вижу никаких ассоциаций кроме болезненности. Итак, он испугался, и Ясская операция началась помимо него и вопреки ему.

22 августа, когда исход битвы был уже ясен, состоялось соглашение между немногочисленным, уставшим от конспираций, ЦК КПр¹⁰ с королем и политиками. В 16.00 во дворец был допущен Боднараш с двадцатью железнодорожниками — людьми большой физической силы. Наверное, он чувствовал себя счастливым в этот день. Много лет тому назад, окончательно убедившись, что его не произведут из локомотивов в капитаны, он переплыл Днестр и вышел на пограничный пост, изящный, щеголеватый, в фатовской форме румынского гренадера. Испытывался, учился, был на Урале. Посланный в Румынию, неоднократно избивался в сигуранце¹¹.

В 1944 году руководил кучкой бухарестских рабочих, — как и он, озлобленных побоями, провалами и провокациями.

На 17.00 во дворец был вызван Антонеску. За ним последовательно и по-одному должны подъезжать Михаил Антонеску¹² — премьер, начальник сигуранцы и два других генерала. Диктаторы проходили по узким, архитектурно предназначенным для цареубий-

ства, дворцовым коридорам. Внезапно на них бросились дюжие парни, заклипали рот, связали руки, увезли. Король не посмел, в отличие от своего савойского коллеги¹³, разрешить себе жестокое удовольствие последнего разговора с диктатором. Вечером арестанты были сданы нашим эмиссарам. В тот же вечер Михай договорился с немцами о предоставлении им беспрепятственного выхода из страны. На больших дорогах происходили странные сцены. Румынские патрули останавливали немецкие автомашины, подобострастно интересовались документами, окружали, обезоруживали, избивали. Немецкие пароходы, удиравшие вверх по Дунаю, утапливались болгарскими партизанами, при олимпийском бесстрашии присутствовавших при сем жандармов. В Чернаводах пограничники окружили большие немецкие казармы и, повесив в воздухе несколько специально вызванных советских бомбардировщиков, вынудили к сдаче около четырех тысяч солдат и офицеров. Впрочем, немцы быстро оправались от рабской коварности своих союзников. С пригородных аэродромов началась частая бомбежка королевского дворца, и Михай, оставив державу, бежал в свое лесное имение. Выведенные из Бухареста войска начали контрнаступление на гвардию и вооружавшихся рабочих. Судьбу страны решили девятнадцать свежих дивизий, предназначенных для защиты линии Прута. Соединение их с нашими войсками привело к автоматическому перенесению фронта на сотни километров севернее и западнее — в Трансильванию¹⁴.

Борис Служкий

Челак рассказывал, как провалились планы ольтенского обкома об организации партизанщины. Было оружие. Была крепкая связь с лагерем военнопленных, где томили защитников Одессы и Севастополя. В последний момент обкомовцы убоялись организовывать национальную партизанщину за счет русских пленных, ■ ставить под удар чужих для Румынии людей.

Осенью 1944 года 75-й стрелковый корпус, покоря Западную Румынию, освободил огромные шеститысячные лагеря наших военнопленных. Этих-то пленных и прочили в партизаны.

Корпус не пополнялся с августовских боев, и новобранцев немедленно распределили по полкам — огромными партиями по шестьсот—восемьсот человек. Так и шли они разноцветными ордами, замыкавшими тусклые полковые колонны, — защитники Одессы и Севастополя, кадровые бойцы 1941 года, слишком выносливые, чтобы поддаться режиму румынских лагерей, слишком голодные, чтобы не ненавидеть этот режим всей обидой души.

Шли тельняшки, слинявшие до полного слияния белых и синих полос, шли немецкие шинели, шли румынские мундиры, вымененные у охраны. Шли. И румынские деревни отшатывались перед их полком, разбегались в стороны от шоссе.

Это были отличные солдаты, сберегшие довоенное уважение к сержантам и почтение к офицерам. Большинство из них крепко усвоило военное словечко: «Мы себя оправдаем», — сопряженное с осознанием своей вины (или согласием: мой поступок можно рассматривать как вину) и неслезливым раскаянием.

ПЕРВЫЕ ДНИ В ЕВРОПЕ

Границу мы перешли в августе 1944-го. Для нас она была отчетливой и естественной — Европа начиналась за полутора километрами Дуная. Безостановочно шли паромы, румынские пароходы с пугливо исполнительными командами, катера. Из легковых машин, из окошек крытых грузовиков любопытствовали наши женщины — раскормленные ППЖ¹⁵ и телефонистки с ми-

лыми молодыми лицами, в чистеньких гимнастерках, белых от стирки, с легким запахом давнопрошедшего уставного зеленого цвета. Проследовала на катере дама, особенно коровиная. Паром проводил ее гоголом, но она и не обернулась — положив голову на удобные груди, не отрываясь, смотрела на тот берег, где за леском начиналась Румыния. Это прорывалась в Европу Дуныка¹⁶.

И вот мы идем по отличной румынской дороге, покрытой белой пылью, столь тонкой, что в десять шагов она смыла с сапог российскую грязь.

Мимо медленно ползут стрелковые роты, досчитывающие трофеи кишиневского окружения. Костюмы бойцов варварски разнообразны — в полный набор оттенков желтого и зеленого цветов — положенных цветов нашей армии — обильно вкраплены немецкие и румынские мундиры. Основательная кирза разбавлена блистательной легковесностью хромовых, стянутых с немецкого подполковника, сапог. Идут волны, мобилизованные еще за Днепром.

223-я дивизия ведет восемь последних верблюдов. Идут тамбовские некрупные лошаденки и трофейные першероны — их не уважают и нещадно бьют палками. Целые батальоны полностью погрузились на немецкие повозки — санитарные и интендантские, крытые крепкой парусиной. Во всем чувствуется ясность, уверенность в себе, сытость. Несмотря на стремительные темпы передвижения — тридцать — тридцать пять — сорок километров в день, армия как будто не идет, а движется, как гусеница.

Впереди большие, богатые города — Констанца, Браилов, Бухарест. Ровно год, со времени великого дневного пожара Харькова, крушения гигантских корпусов, наблюдавшегося из арбузных бахчей, мы острили по поводу внеурбанистичности наших маршрутов. Армия именovala себя «проселочной», «деревенской», «сельскохозяйственной». Завидовали

соседям, бравшим Полтаву или Кременчуг. Даже штабные офицеры по шесть месяцев не стучали каблуками по асфальту.

Внезапная, почти столкнутая в море, открывается Констанца. Она почти совпадает со средней мечтой о счастье и о «после войны». Рестораны. Ванны. Кровати с чистым бельем. Лавки с рептильными продавцами. И — женщины, нарядные городские женщины — девушки Европы — первая дань, взятая нами с побежденных.

Второй день в Европе подходил к концу. Мы очень устали — от езды, от впечатлений, от пыли, покрывшей лица серебристо-серым слоем, придавшей им inferнальный характер.

Население нескольких румынских местечек с пугливым любопытством рассматривало нашу машину — быть может, десятитысячную из проследовавших в этот день на Чернаводы.

Вторжение началось, но завоеватели слишком торопились, чтобы сводить счеты. Все шло очень мирно. Массовое мышление — основательно, но медленно.

В эти дни доминирующей мыслью было: «Мы — победители. Они нам покорились». Потребовалась неделя, чтобы умами овладела следующая идея: «По поводу победы их следует пощипать».

Было уже темно, когда мы остановились в небольшом селе. Из подворотен угодливо повизгивали румынские собаки. Они капитулировали вместе со своими хозяевами и смертельно боялись красноармейцев. Достаточно было хлопнуть по кобуре, чтобы огромная псина умчалась куда глаза глядят.

Постучали. Хозяин, в белых холщовых штанах, посоветовал нам переночевать у местного коммуниста — бедняка. Кто-то одобрительно хмыкнул. Недоклепа воззрился на него презрительно. «Слушай, дружище, — сказал он хозяину, научившемуся понимать по-

нашему в Трансистрии,— веди нас к кулаку, к самому что ни на есть мироеду. К кровососу — лишь бы был побогаче».

Вскоре мы толпились в обширной горнице, и Недоклепа объяснял мироеду, что офицеры желают жареную курицу. Он кудахтал и приседал, наконец, встал на корточки, зажмурился и захлопал руками. Мироед, всеми силами выразивший непонимание, выбежал в чулан и с торжеством подал ему рулончик клозетной бумаги.

Недоклепа вздохнул, вышел во двор, притащил отчаянно сопротивлявшегося петуха и мрачно ткнул им по направлению печки.

На следующий день в полдень мы уже были в Чернаводах. Позднее, в Австрии, первый день мы обычно проводили в совершенно безлюдном городе.

Но Чернаводы не успели еще испугаться как следует. По улицам ходили вооруженные офицеры. Они козыряли нашим солдатам. В киношке шла немецкая хроника. Лавочники сбывали последние самопишущие ручки. Каждый час они, не стовариваясь, повышали цены.

Комендант города майор Стихин отбивался от толпы обиженных. На него наседали торговцы со счетами убытков, домовладельцы, необдуманно требовавшие оплаты постоя, священники, справлявшиеся, открывать ли церкви. А он тянулся к женщине, стоявшей у входа. Это была окрестная помещица — писаная красавица — первая помещица в жизни майора Стихина, первая красавица за три года войны. Сегодня утром три младших лейтенанта увели из ее конюшен три пары кровных рысаков вместе с беговыми дрожками.

Недоклепа быстро вывел нас из оцепенения перед капиталистической действительностью. Он судорожно тянул носом и делал странные пасы руками. «В городе пахнет бензином... и машинами... здесь, конечно, есть автомашины».

Мы пошли на запах. Впереди чернели фермы великого чернаводского моста. В 1941 году он был разрушен удачливой бомбой Черевичного. Восстановительные работы затянулись на полгода, но сейчас он по-прежнему был единственным звеном между Добруджей¹⁷ и остальной Румынией.

Вскоре нас окружила толпа шоферов — пленных красноармейцев. Они жаловались и угощали нас папиросами, наперебой предлагали «свои» автомашины и себя в придачу. Ориентировка у них была полная. Никто не хотел идти в пехоту.

Недоклепа выбрал «Бюссинг». Я — полуторку. На этой-то полуторке я и совершил свое первое государственное дело.

Мой новый шофер Гаранин — смоленский легковик — прежде всего удивил меня характером своих языковых познаний. Он сносно изъяснялся по-немецки и совсем не знал румынского языка, хотя прожил два года именно в румынском, а не немецком плену. По-видимому, это объяснялось тем, что он точно ориентировался в международной обстановке.

Мы зашли в ресторан — обедать. За столом он рассказал мне городские новости.

Используя безначалие и сумятицу, румынское командование срочно угоняло за Дунай автомашины советских марок. Два эшелона ушли вчера. Еще два готовились уйти сегодня ночью.

Я позвонил в штаб погранвойск, размещавшийся здесь же в городе. Отказался говорить с адъютантом. Приказал полковнику — командующему — ожидать представителя «Главного русского штаба» у себя, через двадцать минут.

Умываться не хватило времени, и я вышел из машины грозный-грязный, как земля от неба, отличающийся от лакированных румынских офицеров.

В просторном светлом дворе уже выстроилось в ожидании командование. Я откозырял, знаком при-

гласил командующего в его собственный кабинет. И с места в карьер потребовал приостановки отправки эшелонов. Полковник резонно согласился на условия перемирия. Попросил письменного распоряжения.

Я почувствовал, что залез в дебри дипломатии. Однако отступить было уже поздно.

Условились, что ему позвонят. И я умчался в Констанцу, где находился Бочаров, вершивший тогда судьбы Добруджи.

Мы встретились в отеле «Империял», где жило наше командование. В вестибюле грели самые чистые простыни в Румынии. Во дворе выколачивали атласные одеяла.

В этот же вечер в Чернаводы выехали мотоциклисты — закрывать переправу через Дунай.

БОЛГАРИЯ

РУСОФИЛЬСТВО

Если в Югославии симпатии к нам носили преимущественно советофильский характер, то в Болгарии на первый план выступило русофильство. Один из наших генералов, расположившийся в прибалканском городишке, посмотрел на ежедневные демонстрации и послал адъютанта к властям — посмотреть «що це за держава». Власти отвечали: наша ближайшая цель — установление советской власти в Болгарии. Наша дальнейшая цель — полный коммунизм. Однако не это было главным в отношении к нам болгарского народа. Эпиграфом к главе о русофильстве поставлю рассказ об Ангеле Мажарове.

Он был старшиной видинских адвокатов. Высокий старик, он носил окладистую седую бороду. Его чувства к нам носили православный характер не по содержанию, а по догматичности формы.

В 1937 году Мажаров, вместе с делегацией славянского общества, посетил Белград. Однажды в кафе, где сидело человек двадцать болгарских и сербских интеллигентов, зашли штурмовики-туристы. По-гитлеровски подняли руки, приветствуя публику. Тогда над столом поднялся старик. Он сказал:

— Я пью за пятипалую славянскую ладонь — и он пересчитал, начиная с мизинца, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Польшу, Россию. Сейчас мы разрознены, и персты наши смотрят в разные стороны. ■

Но настанет время, когда они сожмутся в кулак и русский палец прикроет остальные и мы ударим по тевтонскому хайлю, да так, что ни один немец не станет махать руками при встрече с нами.

7 сентября две армии приготовились к прыжку через болгарскую границу. Седьмому отделению¹ было приказано отпечатать двадцать тысяч листовок. Болгарских шрифтов не было. Печатали по-русски, догадываясь, что болгары поймут. Однако листовки оказались напрасными. Навстречу нашим танкам выходили целые деревни — с хлебом, с солью, виноградом, попами. После румынской латыни танкисты быстро разобрались в малеванных кириллицей дорожных указателях. Перли на Варну, на Бургас, на Шумен. Утром 8 сентября шуменский гарнизон арестовал сотню немцев, застрявших в городе. Вечером того же дня шуменский гарнизон был сам арестован подоспевшими танкистами. 9-го, когда я приехал в город, в немецком штабе еще оставались посылки — кексы, сушеная колбаса, мятные лепешки. Ночью мы долго стучали в наглухо запертые ворота. Промучившись более часа, я перелез через забор и вскоре пил чай с пирожками в гостеприимной, хотя и осторожной семье. Меня спрашивали: «Как же вы вошли? Ведь ворота остались запертыми!» Я отвечал: «Что такое ворота для гвардейского офицера». Какой-то гимназист с дрожью в голосе говорил мне: «Так нехорошо! Вы — не братушки».

Братушка — слово, рожденное во времена походов Паскевича² или Дибича³, рикошетом отскочило от нашего солдата и надолго пристало ко всем «желательным иностранцам». Братушками называли даже австрийцев и мадьяр.

В Болгарии наши интеллигенты, воспитанные на формулах Покровского⁴, увидели вторую сторону российской внешней политики. На горных дорогах, за крутыми поворотами они читали мемориальные доски скобе-

левских времен⁵, огромные, вечные, врезанные в камень, напоминавшие следы Будды. Особенно способствовали развитию русской гордости храм и музей в Плевне. Дивизии делали тридцатикилометровые крючки, чтобы провести бойцов через их тишину. Несколько месяцев в окрестностях Плевны искали человеческие кости. Мыли их, чистили. Довели до праздничной, пасхальной белизны. Сложили в аккуратные горки, увенчанные черепами. Накрыли толстыми стеклами, засветили изнутри лампадами. И вот мы смотрим на результаты этой работы — все выдержано в верещагинских тонах⁶, сгущенных, затемненных отсутствием южного солнца. В музее — мраморные доски, на них золотом высечены имена всех офицеров, павших в Плевненской битве. Эти памятники строил архитектор Заимов⁷. Свое русофильство он передал сыну — генералу болгарской армии. Незадолго до нашего прихода генерал Заимов⁸ был расстрелян по приговору Военного суда.

КОММУНИСТЫ

В сентябре один из наших генералов, беседуя с руншунским обкомом, посоветовал ему учитывать факт пребывания Красной Армии в стране. В ответ на это секретарь обкома предъявил ему протоколы подпольных заседаний — за пять месяцев до нашего прихода обком обсуждал методы работы в условиях, которые сложились после 8 сентября⁹.

У болгарских коммунистов был вождь — настоящий вождь¹⁰. Национальным компартиям необходимы такие люди — с ореолом общенародной, а не только партийной славы. Тельман, видимо, был таким: объективно, а не субъективно — знаменем, а не чело-

веком. Объективно и субъективно такими людьми являются Ракоши, Тито, Катаяма¹¹. Таких вождей, закаленных и прославленных в подполье, не хватает странам мирной демократии — англосаксонской и скандинавской.

Два болгарских офицера, по пьяной лавочке, крепко ругавшие «своих» коммунистов, по-хорошему оживились, когда я заговорил о Димитрове.

— Как он ответил Герингу, когда тот на суде обозвал его темным болгарин¹². Он так и сказал всем этим немцам: «Когда ваши предки носили вместо знамен конские хвосты, у наших предков был золотой век словесности. Когда ваши предки спали на конских шкурах, наши цари одевались в золото и пурпур».

По-видимому, долгий неприезд Димитрова в Болгарию объясняется не только тем, что он чересчур символизирует свою партию, но и тем, что он слишком крупен для такой страны. Это человек первого места — премьер, президент, диктатор.

КАРАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В сентябре 1944 года я осматривал в Разграде¹³ лагерь пленных немцев — главным образом, дунайских пловцов, бежавших сюда из Румынии. Всего — сто два человека. Партизаны, еще не привыкшие быть субъектами, а не объектами пенитенциарной системы, кормили их четырьмястами граммами хлеба в день, давали еще какую-то горячую баланду. Фрицы роптали, и братушки смущенно консультировались у меня, правильно ли они поступают. В Югославии такие нахалы, как эти фрицы, давно уже лежали бы штабелями. Такова разница национальных темпераментов, а главным образом, двух вариантов накала борьбы.

Все режимы и партии современности признают важность массовых организаций. Нас удивляла практика венгерской и австрийской компартий, открывавших специальные вербовочные бюро, организовывавших массовые наборы. Нам объясняли, что существует категорический императив партийного билета, и на этом стоят миллионные социал-демократические партии — пассивнейший из их членов все же голосует за их списки на выборах.

Если сложить цифры членов массовых фашистских организаций с цифрами членов массовых демократических организаций в Венгрии, Болгарии или Австрии, то итог превысит общую численность населения страны. Поэтому, когда пришло время «брать» фашистов, тюрьмы переполнились. Потом сообразили, что «бранники»¹⁴ суть сопливые гимназисты — и отпустили их по домам.

Следует отметить, что в Болгарии тюрьмы были почти единственным звеном государственного аппарата, для которого у коммунистов сразу же нашлись опытные функционеры, знающие специфику дела. В Ружуке мне показывали озабоченного человечка — нового начальника тюрьмы. Он семь лет просидел в этой тюрьме, знал там каждую решетку. Здесь же в «державной сигурности»¹⁵, сохранившей свое конвентное название, я столкнулся с перестановкой, чрезвычайно наглядно иллюстрировавшей революционность ситуации. Жандармы, ранее работавшие в первом этаже, были переселены в подвал — в тюрьму. Коммунисты, освобожденные из подвала, заняли кабинеты в первом этаже и теперь трудились над списками сексотов и провокаторов.

В Видине поздней ночью я, в поисках квартиры, обратился в народную милицию. Меня встретили комсомольцы с немецкими парабеллумами. Они потребовали партийный билет — в подтверждение моей прогрессивности. ■

Почтение перед русским майором немедленно сменилось покровительственным тоном: «Член партии с 1943 года! Ребенок! Я уже пятнадцать лет в партии!»

Здесь же мне показали камеру, где сидели «все буржуи третьего района». Наверное, так выглядели городские бомбоубежища. На грязном полу лежали большие перины, крахмальные простыни, атласные одеяла. Часть буржуев спала раздевшись, другие сидели, обнимая пестренькие, всемирно одинаковые, узелки для отсидки. В углу старуха тупо, нехотя, видимо, впрок, жрала крутые яйца. Меня обеспокоенно спросили: так ли нужно обращаться с буржуями. Местные социал-демократы требуют милосердия. <...>.

Мне дали квартируера — комсомольца. По дороге он рассказал, что успел уже поссориться со всеми домовладельцами. Мы стучались во многие окна. Никто не откликнулся. Тогда я посоветовал ему поступить так, как будто в доме живет фашист и ему нужно срочно привести этого фашиста в милицию.

Квартирьер обрадованно закивал головой и забарабанил в дверь пупырчатыми горными каблуками.

АРМИЯ

В первые недели нашего пребывания в Болгарии болгарская армия была для нас «иксом», неизвестностью, следовательно — потенциальной опасностью. Штаб корпуса генерала Николова, оккупировавший Македонию, перешел к немцам. Нейтральность гарнизонов никого не обманывала — трудно было не быть нейтральными, когда ждановские танки¹⁶ — в те дни единственные на Балканах — подходили к Софии.

Борис Слуцкий

Вылощенные, в мундирах, копировавших мундиры царской армии, болгарские офицеры были ненавидимы партизанами. Они указывали красноармейцам на

офицеров, как на открытых врагов. В сентябре мы считались с возможностью выступления болгар против нас.

Второй раз я столкнулся с болгарами в марте, в Шиклоше. Немцы безжалостно колотили их первую армию. Собственно говоря, весь сыр-бор загорелся здесь потому, что восемьсот болгар сдались без сопротивления взводу немцев, переправившихся через Драву. В армии был разброд. Ходили слухи, что, дойдя до Дуная, два болгарских батальона взбунтовались и повернули назад. Их уладила болгарская же артиллерия. Введение политаппарата (поголовно — коммунисты) подлило масла в огонь. Один из таких комиссаров — бывший шофер — с восторгом говорил мне, что в его батарее шестьдесят коммунистов, есть еще тридцать омладненцев¹⁷ и социал-демократов, а комбат — сволочь-звенарь¹⁸. На каждой стоянке возникали политические споры. Стрелковая рота получала экземпляры центральных газет через пять дней после их выхода. Газеты втихомолку ругали друг друга.

Солдаты дружно поносили офицеров; их обвиняли (правильно) в неумении воевать. Действительно, по сравнению с болгарами, самые средние немецкие дивизии были до крайности модерни.

Зато совершенно неправильными были обвинения в трусости. Десятки поручников умирали с кадровой, уставной, хлесткой храбростью военной касты, знающей, что за ней следят с недоверием и подозрением.

Немцы усердно сплавляли в Болгарию устарелое вооружение. Это сказывалось. Провалилось болгарское интендантство, кормившее солдат двумя котлетами в день. Перед армией 1944 года, перед ее штабами, начальниками, воинским духом, стала грозная современная военная машина.

В 1941 году болгар разбили бы в неделю. В 1944 году, фланкируя русских и прикрываясь ими, болгарская армия напоминала туриста, карабкающегося на

гору, обдирающего бока, но застрахованного от смерти присутствием товарища.

Наши солдаты часто относились к болгарам с пренебрежительным доброжелательством. Смеялись над широковещательными надписями: «Штаб 16-й дивизии». Смеялись над жалобами — плохо кормят, плохие офицеры, плохое оружие. Одновременно жалели, сочувствовали. Солдаты знали, что немцы подстегивают своих, привирая, — перед вами не русские, а болгары.

Командир 84-й дивизии, послушав жалобы болгарского генерала на расхлябанность и недисциплинированность, сказал ему жестко:

— Когда я приказываю что-либо своим подчиненным, они отвечают: «Есть, разрешите выполнять», — либо отказываются. В этом последнем случае я их расстреливаю. Теперь послушайте-ка такой силлогизм: «Вы мой подчиненный. Приказание получите в моем штабе. Ясно?»

— Есть, разрешите выполнять, — поспешно и понимающе ответил болгарин.

Ушел — и выполнил.

В полках сидели наши военпреды — энергичные комбаты из фронтового резерва. Они быстро привыкли к языку, нагоняли страху на интендантов, завоевывали солдатские сердца явным неуважением к немцам. Своими полковниками они командовали, как хотели. Из дивизий посылали параллельно своих офицеров — учить болгар уму-разуму. Доходило до того, что болгарами разбавляли наши жидкие пехотные роты. Здесь «братушки» находили не только жирные кухни и отличное оружие, но и товарищеский тон и все то же явное неуважение к немцам. Русский солдат — добровольный, природный агитатор. На это открытое «растление болгарской армии, как единого целого», все смотрели сквозь пальцы.

■ Борис Слуцкий

А кооптированных болгар палками нельзя было вышибить из усыновивших их русских рот. С партизана-

ми такая «разбавка» никогда не производилась. Была еще одна причина, скреплявшая четырехпартийную армию¹⁹. Газеты ежедневно печатали антиболгарские выпады турок, глупые речи Дамаскиноса²⁰, призывавшего: «На Софию!». Всем была ясна необходимость национального сплочения в русле московской ориентации.

ЦАРЕНОК²¹

Советский человек, с его стихийным республиканизмом, привыкший к битвам титанов и величавости своих властителей, смотрел на балканских корольков с презрительным, но беззлобным удивлением.

Верноподданность восьмилетнему Симеону казалась ему абсурдной. Между тем, именно жалкость и беззащитность царенка помогли ему удержаться на престоле. Немецкому происхождению, республиканизму всех четырех партий отечественного фронта, казни дяди²², отсутствию роялистского дворянства противостояло одно младенчество Симеона. *Его восемь лет отроду* — и победило.

К царю приставили соответствующих опекунов: Павлова — московского профессора, Бобошевского и Ганева²³ — либеральных республиканцев французского типа. В провинции острили, что царя воспитывают в комсомольском духе. Тем не менее, он сохранял престол и двор.

Однажды вечером к заместителю коменданта по политчасти Софии подполковнику Сосновскому привели шофера — пьяного до нечленораздельности. При обыске у него отобрали болгарский орден и много левов²⁴. Сосновский решил, что шофер ограбил болгарина. Посадив его в многолюдный вытрезвитель, он выбросил все происшествие из головы.

Утром в комендатуру упорно звонили из штаба фронта: царица Иоанна искала по городу старшего сержанта Иванова.

Фамилия показалась Сосновскому знакомой. Шофера вызвали наверх. Он уже был достаточно трезв, чтобы рассказать такую притчу.

Вчера утром он прогуливал свою машину в пригородном парке. Услышал крик. В боковой аллее, в канаве, под опрокинувшейся машиной, барахтались мальчишечка и пожилой человек в комбинезоне — шофер. Когда Иванов вытащил их из-под машины, мальчишка объявил: «Я царь Болгарии Симеон II. Ты спас мне жизнь. Едем во дворец, там тебя наградят».

Во дворце перепуганная царица Иоанна наградила шофера орденом и дала ему пять тысяч лев. Начался банкет. Иванов выпил, добавил по дороге и попал в комендатуру. Когда все это выяснилось, его с торжеством отправили во дворец. К вечеру патрули снова приволокли его в комендатуру.

Это был, кажется, первый случай награждения советского гражданина болгарским орденом.

Отношение нашего солдата к европейским царикам было весьма простодушным. Полюбовавшись на портретах на монашескую меланхоличность Иоанны и бальное величие Елены, они выражали свои чувства в лаконичных и исконных выражениях.

Прославленный диапазоном своих любовей майор Жиликов поставил перед собой задачу: овладеть графиней (хоть какой-нибудь) и добился своего, где-то в Венгрии, не побрезгал, аристократичности ради, старушкой о пятом десятке.

Борис Служкий
В Софии 17 младших лейтенантов отпраздновали успешное окончание быстропоспешных курсов визитом к царице. У входа во дворец попросили доложить, что группа русских офицеров просит аудиенции. Были приняты и угощены. Вели себя очень прилично. ■ Часа через два усиленный комендантский патруль

отвел их в прокуратуру. Трибунал оценил их визит в восемьдесят пять лет тюремного заключения (по пять лет на брата). Благородное поведение на банкете было расценено как смягчающее обстоятельство.

ЖЕНЩИНЫ

После украинского благодушия, после румынского разврата суровая недоступность болгарских женщин поразила наших людей. Почти никто не хвастался победами. Это была единственная страна, где офицеров на гулянье сопровождали очень часто женщины, почти никогда — женщины. Позже болгары гордились, когда им рассказывали, что русские собираются вернуться в Болгарию за невестами — единственными в мире оставшимися чистыми и нетронутыми.

Случаи насилия вызывали всеобщее возмущение. В Австрии болгарские цифры остались бы незамеченными. В Болгарии австрийские цифры привели бы к всенародному восстанию против нас — несмотря на симпатии и танки.

Мужья оставляли изнасилованных жен, с горечью, скрепя сердце, но все же оставляли.

КАК МНЕ БОЛГАРСКИЙ ОРДЕН ВЫДАВАЛИ

Это вышло совсем неожиданно — начальство вспомнило мои миссии в Рушукe и Плевне. Так я стал кавалером большой бляхи — красного креста, отчасти напоминающего немецкий железный крест.

Нас собрали в актовом зале Грацкого университета. При виде симпатичных, любезных, даже услужливых физиономий наших генералов я понял, что болгары избавились от многих неприятностей, если бы раздали соответствующую толику крестов до, а не после похода. Мы выстроились в одну шеренгу — от полковника до майора — командиры полков, политработники, штабисты. Я стоял левофланговый. За вручающим генерал-лейтенантом Стойчевым услужливым фоном стояли офицеры нашего и болгарского отдела кадров с заветными коробочками в руках.

Духовой оркестр ударил «Шуми Марица»²⁵.

Стойчев скакнул к вышедшему из строя полковнику, огласил по-болгарски формулу награждения и одним движением повесил ему орден в петлю кителя. Оказывается, ордена у болгар не на штифтах, а на булавках.

Полковник четко ответил: «Служу Советскому Союзу».

Все замерли: в формуле награждения было ясно сказано, что ордена даются болгарским народом за услуги, оказанные болгарской армии.

Второй полковник оказался дипломатичнее и на тираду Стойчева ответил молчанием.

Создавалось глупое положение. Офицеры получали награды, молча выслушивали генерала, молча жали ему руку и, не разжимая губ, становились в строй. Всех выручил подполковник Боград — начальник штаба 122-й дивизии. Он гаркнул: «Благодарю за честь!» Все заулыбались радостно. Формула ответа была найдена.

Сели за столы. Они стояли огромным «Т», причем на шляпке разместились торты и генералы, а на стойке — все остальные. Болгарские офицеры сразу же сосредоточились вокруг немногих тарелок с красной икрой, и мы с тоской смотрели, как они лязгали по икре столовыми ложками. Я спросил своего соседа,

болгарского майора, о статусе полученного мною ордена. Тот ответил, смешавшись: «Товарищ майор, откуда мне знать, ведь я партизан, секретарем райкома был». На седьмом или восьмом тосте Стойчев неожиданно провозгласил здравицу «водачу²⁶ советских артиллеристов — генерал-лейтенанту Брейдо». Мы насторожились. К столу уже семенили болгарские кадровики, неся перед собой коробочку с орденом. Очевидно, дело было слажено тут же.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

8—9 сентября, когда все виды компромиссного решения были отвергнуты и наши танки ворвались в Болгарию, подвергнув ее всемирному унижению, многим, в том числе и мне, казалось, что произошла ошибка. Толкнули в сторону широкие круги антинемецки настроенной буржуазии, обидели англофилов, готовых несколько потесниться, чтобы дать место коммунистам.

Жизнь показала, что путь раскола с англофилами был правильным. Они заняли пустоту справа от себя, вызванную разгромом профашистов. Остатки германофилов были впитаны либералами. Практика оттеснения и раскола оправдала себя повсеместно. В Югославии англофилов с бородами и королевскими коронами на бараньих шапках опозорили, затем уничтожили. В Венгрии, напротив, мудрое устранение Бетлена²⁷ было парализовано наполовину передачей власти генералам.

Результат — провал «армии Вереша»²⁸, нейтральная пассивность мадьяров в войне, открытие тысячи каналов для союзничков — от Красного креста с посылками до миссий и займов.

Наше постепенство в Румынии, оправдывавшееся слабостью коммунистов, повело к тому, что Маниу²⁹ ■

ушел с неприятным треском, сохранив славу участника антифашистского переворота и легальную организацию. При наличии дееспособного коммунистического меньшинства в стране, раскол с либералами необходим. Чем скорее — тем лучше. Меньше придется арестовывать товарищей по восстанию.

Если часть национальной буржуазии (скажем, звенари в Болгарии) объективным ходом событий отталкивается к пусть вынужденному русофильству — задачи компартии чрезвычайно облегчены, легче соблюсти невинность, процент необходимого для взятия власти меньшинства может быть понижен.

Французские коммунисты стремятся к объединению с социал-демократами потому, что девятьсот тысяч подпольщиков, партизан, конспираторов неминуемо, частью перевоспитают, частью перемелют либеральные рыхлости.

Австрийские коммунисты, как черт ладана, боятся объединения с социал-демократами, потому что семьсот тысяч организованных и культурных рабочих неминуемо растворят кучку подмастерьев, вчерашних социал-демократов и полуанархистов. Фюрнберг со всей решительностью сорвал такое объединение в рудничных районах Штирии.

Боротьбисты³⁰, видно, хорошо знали эти правила политической диалектики, когда напевали: «Мы сольемся, разольемся и зальем большевиков».

Объединение возможно, когда коммунисты (если не в бытии, то в вероятной тенденции) сильнее социал-демократов, могут подчинить их своему влиянию (это характерно для периодов революционного подъема). Объединение возможно и тогда, когда компартия — стойкое меньшинство, способное сохранить автономию, скажем, среди лейбористов, не поддаться их влиянию, напротив, влиять на них (это характерно для периодов стабилизации, застоя).

МЕНЬШЕВИК ПЕТКО

В Видине я прожил несколько дней на квартире Петко Браткова — вождя местных широковцев³¹ и члена главного управления болгарских социал-демократов. Это был первый меньшевик в моей жизни.

Подвыпивши, Петко высказывал любопытные мысли. Он был убежден, что если немцы вернуться, то его обязательно повесят. Наряду с этим обосновывал необходимость прекращения арестов, просто-душно поясняя, что спасали же его коллеги — фашисты в немецкие времена.

В Болгарии — стране, где высшее образование имеют десять тысяч человек, *бывшие студенты*, хорошо знают друг друга. Поэтому, говоря о Цанкове³², его враги уважительно добавляют: профессор! Поэтому так приемлем для многих эрудит Димитров или Павлов, прославивший болгарское имя пусть на такой рискованной стезе, как философия теоретического материализма. Политические отношения носят иногда семейный характер, отдают запахом студенческого общежития.

Петко (и тысячи других болгарских интеллигентов) разграничивали русских коммунистов (умных и опытных) и болгарских коммунистов (путчиков). Вспоминали Маркса и национальные особенности. Все дело сводили к тому, что методы, применимые к «темному» русскому крестьянину, слишком жестоки для европеизированных болгар.

Петкино русофильство стимулировалось не только незнанием западных языков (распространенный стимул), но и теоретическими соображениями. В частности, он полагал, что необходимость выхода к Эгейскому морю (этот хинтерланд³³ в Болгарии называется северное беломорье), неминуемо поссорит болгар с греками, турками, а затем и с англичана-

ми. Отсюда два варианта ориентации — германская (но Германия нулифицируется), либо русская. Даже крупные экспортеры поневоле левеют, в условиях, когда единственно реальными остаются русский и вассальные рынки.

Братков стыдливо, с оглядкой, гордился социал-демократическими подвигами в борьбе с фашизмом, Леоном Блюмом³⁴, лейбористами, даже «моральным сопротивлением» и антифашистской пропагандой собственного изделия. Пропаганда, впрочем, ограничивалась перешушукиванием лондонских передач. Мне он говорил: «Мы марксисты!».

В том же Видине на другой квартире мне регулярно чистил сапоги и пришивал воротнички 17-летний сын хозяина, гимназист. Три недели тому назад он еще был командиром роты в фашистской организации «Бранников». Сохранил хорошую юношескую стройность, умелость в движениях, военизированную опрятность. Честно старался перековаться, для чего читал коммунистические газеты и сталинские брошюры.

Сапоги чистил отлично.

ЮГОСЛАВИЯ

ДИАЛЕКТИКА

Подобно тому, как Россия Отечественной войны, оглушенная немецкой дисциплиной, бредила словом «точно», так и у партизанской Югославии нашлось свое словцо — «диалектика».

Когда-нибудь мы разберемся в причинах. Быть может, такими причинами были специфика отсталой страны, где разница между коммунистами и монархистами была более возрастной, чем идейной. Быть может, все дело в стойкости популярной национальной церкви¹, успешно отразившей атаки материализма и безверия.

Полковник Тодорович, комиссар первого пролетарского корпуса, студент, как и его командующий Пеко, дает указание девушке, которая будет работать на моей звуковещательной станции. «Какие пластинки играть?» — спрашивает девушка. «Играйте что-нибудь народное, танцы, классику. Все, что хотите, только не наши партийные песни». И, оборачиваясь ко мне, он подмигивает: «Диалектика». В генеральской столовой того же корпуса, где пьянство было запрещено и преследовалось, регулярно подавали гнуснейшую ракию — для захожих русских офицеров. Хозяева наблюдали пьющих с сожалением.

В конце октября меня послали к Нешковичу — будущему премьеру Сербии. Провинциальные партизаны подарили нашему командованию свои трофеи ■

— семнадцать миллиардов динаров. Не забывшие о партмаксимуме генералы наши домогались узнать: 1) курс, 2) партизанскую политику цен,— они предполагали выплатить из этих денег зарплату всей армии.

Нешкович встретил меня не без приветливости. Он разъяснил иллюзорность миллионов «в особенности теперь, когда мы захватили печатный станок». После этого он вздохнул и с укоризной посмотрел на меня, явственно не желая относиться ко мне как к представителю державы, пришедшему договариваться в другую державу. «Молодой человек, так к чему же все это, молодой человек,— говорил он грустно.— Ну, напечатаем вам бумажек, сколько нужно. Главное, Сталин сказал: *«Наш советский рубль не должен обесцениваться! Диалектика!»*

Митра Митрович², будущий сербский министр просвещения (тогда она еще ходила в военных брюках лыжного покроя), со смешливой обидой рассказывала мне о буйствах красноармейцев: «Танкист, полный подходит ко мне и предлагает: «Ну, черная, пойдем, что ли».

Нешкович оживился, вспомнил, как высадили из автомашины замнача ОЗНА³, потом улыбнулся: «Что говорить о пустяках? *Наша* Красная Армия пришла в Белград».

О том, как часто диалектика расходилась с материализмом, свидетельствует не только пример Владо Зечевича, православного попа, четника⁴, ставшего первым минвнуделом Югославии. Зечевич, кажется,— поп коммуноидного вольтерьянского пошиба. Приведу более убедительный пример.

Утром, в дни боев за Белград, я, усталый, возвращался с передовой на свою городскую квартиру. Было совсем светло. Улица быстро заполнялась толпой — удивительной, храбрейшей в мире, белградской толпой, рукоплескавшей дневным штурмам в двухстах метрах от штурма. На углу дороги преграждало скопление возбужденно споривших жителей.

Я подошел поближе. В центре стояли восемь фрицев — голых, дрожавших на октябрьском морозце. Зеленая их одежда поспешно натягивалась на члены партизан пролетеров. Говорят, что в пролетарском корпусе, этой гвардии Тито, двадцать процентов солдат не имели никакой обуви. Удостоверяю, что два-три процента корпуса не имели и штанов и прикрывали стыд шинелью. Партизаны вежливо объяснили мне, что фрицы — пленные, сейчас их отведут в переулок и пристрелят. Толпа деловито одобряла солдат.

Я отнял фрицев. Им вернули одежду, что привело к почти полному обнажению их обидчиков. Затем мы все вместе отправились в штаб — разбираться. Штаб оказался штабом городской бригады ОЗНА С первой же минуты меня поразил начальник. Его называли «отец». Когда мы остались наедине, он рассказал мне, что был православным священником. Коммунист. В партизанах три года — «старый борец». Я заговорил с ним, как с расстригой. Он насупился. Нет, Христос в душе моей. Война кончится, и я вернусь к рясу.

«Отцу» было более сорока лет. Он был почти красив — с недостриженной гривкой, с профилем иконного святого — македонского, цыганского или армянского. В движениях его поблескивала храмовая плавность. Под черными бровями мерцали глаза фанатика.

Говорят, он был известен жестокостью. По-видимому, спасенным мною фрицам пришлось раздеться еще раз.

ЧЕТНИКИ

В ноябре я прожил неделю в Горнем Милановаце — пять километров от Равной Горы — лесной столицы Дражи⁵. Три года Милановац был явочным местом четников — полулегальным — на глазах у

смирной немецкой комендатуры. В ноябре 1944 года местные девушки еще крепко помнили молодых дражевских поручиков. Из двух госпиталей в русском постоянно толпились добровольные сестры, среди них двадцатилетняя дочка Дражи. Партизанский госпиталь вербовал девушек силой.

Обаяние национальной династии, семнадцати лет юноши Петра⁶, чистая сербскость в противовес партизанскому интернационализму долго поддерживали тление четнического движения. Во всем оно было полярной противоположностью партизанам: атлантизм и немедленный бой; сословие рабочих и студентов и сословие стражников и офицеров; ни одного югославского генерала в Главном штабе — и «вся» военно-бюрократическая Югославия на Равной Горе; наконец, вылощенность эlegantных офицеров и вшивая голь партизанщины. Королевская корона на бараньей папaxe столкнулась с пятиконечной звездой на фригийских шапчонках коммунистов.

Несомненно, четники — либо значительная их часть — стремились поддержать Красную Армию, завоевав тем самым место в будущей Югославии. В разведротe 98-й стрелковой дивизии я застал четырех немцев и подбитого американского авиатора. Их передали четники. За неделю до этого корпус капитана Раковича встрял в бой нашего батальона с окружавшими его немцами и фактически спас этот батальон от уничтожения. Несколько дней оперативный и разведывательный отделы штаба дивизии поддерживали связь с четническим штабом, получая у него сводки. Партизаны реагировали на это ожесточенными протестами. Однажды, когда к комдиву 93-й полковнику Салычеву приехали два четнических офицера, присутствовавший при этом подполковник, комдив 23-й партизанской дивизии в упор пристрелил обоих, без объяснений, при молчаливом неодобрении нашего штаба. Однажды чет-

ники конвоировали пленных немцев — человек триста — к нашим разведчикам. Партизанская засада открыла огонь и по немцам, и по конвою. Стража разбежалась, немцы также исчезли в горах.

Отношение наших людей (93-й дивизии) к четникам было удивительно благожелательным. Комбаты справедливо полагали, что при шестидесяти активных штыках в батальоне следует принимать помощь у кого угодно, — и принимали. Общее отношение к партизанским расправам было неодобрительным, хотя все смутно понимали, что это — линия также и нашего большого начальства. Вскоре пришли указания Военного Совета. Оставленные без внимания четники Раковича подумали и ушли на Юг — к англичанам, высадившимся в Греции.

Особое, чисто сербское, православное русофильство было чрезвычайно распространено в петлических низах. Ориентация на единоверную Россию им, националистам, казалась естественней любви к заморским англо-саксам. Вряд ли Драже удалось бы повернуть против нас свое войско. В официальных документах он солидаризировался с Красной Армией. Мне передали воззвание, подписанное четническим комендантом Белой Церкви, известным вешателем. Оно ставило «войско» под Главнокомандование Красной Армии, в связи с ее приближением. Следовали лозунги типа: «Да здравствует король!», «Да здравствует СССР!».

Со стороны партизанского командования наблюдалось стремление наговорить на четников пакостей побольше — в особенности, по линии их отношения к России.

Итог: четников выжили и выбросили.

АРМИЯ

Это была великолепная армия — чистая телом, — несмотря на густую зараженность сифилисом, чистая духом — без денщиков, без ППЖ, без орденов (их чеканил наш Монетный двор — в очередь с нашими орденами; поступать в Югославию они стали в самом конце войны).

В ноябре я видел часовых — в шинель завернутых, без сапог на мерзлый асфальт поставленных. Дуя на пальцы, они выстаивали по три часа.

Помню плакат в Панчево:

«Немцы, жители города Панчево, отравили вином 9 солдат Красной Армии. В ответ на это расстреляно 250 немцев — жителей Панчева».

Дальше шел список. Он открывался Мюллером — председателем культурбунда, бургомистром, бывшими эсэсовцами и т. д. Одиннадцатым в списке шел Гросс — трактирщик. Его фамилию сопровождало лаконическое замечание — «большой фашист», затем шли еще шестнадцать немцев со столь же краткими характеристиками. Наконец двести двадцать три немца, о которых было сказано только то, что они являются жителями города Панчево. В конце стояло:

«Предупреждаем всех немцев, что впредь за каждого отравленного красноармейца или партизана будет расстреливаться не 30, а 100 человек».

Жестокость партизан отмечалась в низовых политдонесениях. При пресечении — партизаны подчинялись безропотно. Впрочем, немцы также расстреливали в Сербии по сотне жителей за одного убитого солдата.

Борис
Слуцкий

В 1943 году всем партизанским отрядам было приказано: отбить у немцев советских офицеров. Со скрипом было освобождено пять — чином не выше капитана. Никто из них не сделал карьеры в партизан-

ской армии. Только один дорос до комбата. Второй был расстрелян. Кадровые офицеры бродили в четнических лесах. Лучший из полководцев, Коча Попович⁷, до войны был известен более как поэт-сюрреалист и даже в испанской республиканской армии не поднимался выше командования батальоном. Тоска по строевому офицеру, с погонами, появилась у югославов сравнительно рано. В общем, это народ анархический только в расправах. Ликование по поводу освобождения первой пятерки объяснялось надеждами на кадровизацию партизанщины за счет этих живых трофеев. Авторитет русской армии, как кадровой, сказался и в том, что казачий полковник Махин⁸, порвавший с Дутовым⁹ в 1919-м, очутившись у партизан, дослужился до генерал-лейтенанта, хоть и писал больше статьи о Суворове и Фрунзе и заведовал в Главном штабе военно-пропагандным отделом.

Титовисты сами создали армию и тактику, которые были одновременно и кадровыми, и партизанскими. Видимо, они мало учились. Русский 18-й год, более многочисленный, был менее кадровым. Даже белорусская партизанщина Отечественной войны, пересыщенная кадровыми офицерами, опиравшаяся на близкую Большую землю, не может быть сравнена с титовизмом.

К моменту нашего вступления на сербскую землю у Тито¹⁰ было двадцать шесть Ковпаков¹¹, командовавших двадцатью шестью боеспособными дивизиями. Русские роты — непременная принадлежность каждой дивизии, как правило, командовались сербами, в то время как в итальянских бригадах были итальянские командиры.

Интернационализм партизан носил не только естественный, но и вынужденный характер. Болгарская дивизия имени Ботева, четыре австрийских батальона, итальянские бригады, чешский, словацкий, польский отряды, венгерская дивизия Петефи¹², немецкий, румын-

ский, русинский¹³ батальоны — при таком сочетании возможны либо коммунистический интернационализм, либо карфагенское наемничество. Интернационализм сочетался с национальным принципом формирования подразделений. Командарм Коста Надь — мадьяр, и о нем спорят, мадьяр ли он. Хорватское происхождение Тито вредило ему в Сербии. В Белграде жители заметно хуже относились к хорватским бригадам, а итальянские имели вовсе сиротский вид. Впрочем, шовинизм носил внутрицивильный, а не внутриармейский характер. Я ничего не знал о сварах в частях. Офицеры и коммунисты гордились своей многонациональностью. Хотя интернационализм здесь и был интернационализмом минус немцы, немцы дослуживались до комиссара батальона, а во время муниципальных выборов 1945 г. в Апатине (Бачка) был избран в одбор¹⁴ немец. Все легальные, некоммунистические партии современной Югославии формируются по национальному признаку и существуют за счет национальных предрассудков. Чрезвычайно здоровый дух в партии и армии по национальному вопросу.

Югославский закон предоставляет избирательное право всем партизанам, как бы молоды они ни были.

Это мудрый политический шаг. Югославский коммунизм молодежен по многим причинам. Во-первых, потому что он эмоционален. Во-вторых, в мещанской Югославии весь склад жизни консерватизирует именно женатого человека — семьей, домом, заметным повышением зарплаты. В-третьих, старшие возрасты отчасти были уведены в плен, как военнослужащие, отчасти не вняли вопиющему в пустыне гласу коммунистов, так как традиционно тяготели к иным партиям и теориям.

Избирательная льгота самопроизвольно уничтожится через два-три года. Она важна именно для первых выборов, во время которых даст Тито полмиллиона голосов.

Болгария, Венгрия также включили соответствующие параграфы, но здесь они дадут меньшие результаты. Присвоение генеральских званий фиксировало чрезвычайно молодежный характер партизанского начальства. Был комдив, генерал-майор Владо Шегрт, — двадцати пяти лет отроду. Итальянцы боялись его и говаривали, что он не Шегрт, а настоящий маэстро (шегрт — подмастерье).

Командармам Поповичу и Дабевичу было тридцать один - тридцать два года. Министром просвещения Сербии стала девушка двадцати восьми лет — Митра Митрович.

Мое первое впечатление в Сербии — совсем юный полковник Джурич, вскоре ставший генералом.

Я встретил его в Неготине, куда был послан собирать сведения о партизанах своим чрезвычайно неосведомленным по этой линии начальством.

Два месяца назад Тито послал его через фронт — связываться с Малиновским¹⁵. Он пробрался в Румынию. Жил в штабе. Перезнакомился со всеми офицерами. Чуть не спился, рассказывает он с некоторым смущением, к кому не зайдешь — не отпускают без рюмки. С особой гордостью он рассказывает о своем знакомстве с Симоновым — это отношение, кажется, характерно для многих европейцев. Проезжая через Неготин, он властно взял все в свои руки, в два дня организовал здесь одбор и всякий иной коммунизм.

Вторично мы встретились уже в Белграде, где он был комендантом города. Это пост чрезвычайно важный в молодых военных государствах. У него — преторианский запах¹⁶.



В ночь на 14 октября механизированный корпус Жданова¹⁷ ворвался в Белград. Этому предшествовал неслыханный по темпам разгон: Яско-Кишиневское побоище, триумфальное шествие по Болгарии, стремительное и торжественное в одно и то же время, наконец, 200-километровый марш по сербским шоссе, где числился сопротивляющийся противник.

Предместья города — Вождовау и Дедины были заняты с ходу. Их огромные каменные здания, дворцы и виллы создали ложное представление о том, что танки уже в центре города. Вокруг романтически поблескивали немногие пожары, озарявшие столицу, — первую столицу, лежавшую у ног советского генерала.

Казалось, вот-вот появятся изумрудные шинели фрицев, притащат тяжелые, литые городские ключи.

Утром шел малоинтенсивный бой за южную из больших городских площадей — «Славию». Утром же я доселе мирно путешествовавший те же двести километров со сталинградцами согласовал с их командиром текст ультиматума и потихоньку поехал на передовую — вещать. У командира полка меня задержали танкисты. Они уже пили заздравные тосты — впрочем, неуверенно — их танки болтались перед каменными дворцами, не умея выкурить оттуда хитрых фрицев. Развертывалось наглядное подтверждение тезиса о малопригодности танков для городского боя.

Борис Слуцкий Танкисты сообщили мне, что здесь распоряжаются совсем не пехотные генералы, а «сам генерал-лейтенант Жданов — командующий оперативной группой по овладению Белградом». Ничего не поделаешь — приходилось искать Жданова. Без него вещать ультиматум было явно незаконно.

Я нашел его на главной улице — чуть согнутого близкими разрывами, высокого, красивого, в демонстративно полной генеральской форме.

Меня всегда удивляло — до чего крупный, упитанный народ наши генералы. Очевидно, здесь дело не только в естественном влечении в кадры рослых людей, но и в том, что двадцать лет мирного строительства, когда начальство — партийное, советское, профсоюзное — надрывалось на работе, они физкультурили и, отчасти, отъедались на положенных пайках.

Я доложил. Генерал откачнулся в сторону, прищурился и рассмеялся трагически.

— Слишком много чести для противника — вещать ему ультиматумы. Город взят мной. Так и передайте генерал-лейтенанту Гагену¹⁸. И кроме того — у меня семьсот пушек, а у товарища Гагена — пятьсот. А пятьсот меньше семисот, даже если прибавить к ним Вашу звуковещательную машину. Не правда ли?

Я ушел с приказанием немедленно вещать «призывы к отдельным сопротивляющимся группировкам».

На другой день вечером порученцы Жданова топырили уши по всему городу — искали меня на слух по характерному эху динамиков.

Жданов принял меня на своем наблюдательном пункте — крыше госпитального городка. Штаб корпуса он разместил в подвале — в тридцати метрах по вертикали от НП, в тысяче метрах по горизонтали от противника.

Взволнованный, без тени вчерашней полноватой гвардейской рисовки, он шагал по крыше, цепляя шпорами за ее железные швы.

Положение было критическим. Танки безнадежно застряли в каменном муравейнике. Пехота была еще на подходе. Три дивизии немцев прорвались с востока и перерезали основную магистраль, соединявшую Жданова с его тылами и Болгарией. Вчера вечером в «почти занятый» город залетел на «виллисе» Аношин. ■

Сейчас ему нельзя было уехать, и он сидел на шее у генерала, будил его ночью, справлялся про обстановочку. Жданов выслушал меня хмуро, вдумчиво, серьезно.

Внес исправления в текст ультиматума — вполне разумные. Сказал: «Вещайте им, что три дивизии, которые обещают им спасение, уже регистрируются в моих лагерях. Сейчас мы долавливаем их штабные радиостанции, которые будут примерно наказаны за то, что они вас дезориентируют».

Я откозырял и побежал выполнять.

Как известно, Белград был взят только через пять дней — 20 октября.

Вскоре я узнал трагикомическую подоплеку операции. 14-го числа, утром, незадолго до разговора со мной, Жданов, упреждая подход пехоты, с которой пришлось бы делить славу, загодя донес во фронт о взятии города. Доклад пошел в Москву. Антонов¹⁹ сообщил о нем Сталину и стал сочиняться длинный приказ — с фамилией генерала на видном месте. Однако уже к вечеру 14 октября обстановка вырисовалась настолько, что Жданову пришлось срочно дезавуировать свое утреннее донесение.

Рассерженный Антонов сказал Толбухину²⁰: «Можете передокладывать хозяину сами!»

Результаты известны.

В запоздавшем приказе Жданов занимал прочное 11-е место — после всех комдивов, обеспечивавших его дальние фланги.

ЛАГЕРЬ В ГАКОВЕ

В июле 1945 года я провел полчаса в Югославском лагере для гражданских немцев.

■ Он запятан весьма основательно — на венгерской

границе, в глухом сельце Гакове, стоящем на разбитом, давно закрытом для движения большаке Байя—Сомбор. Попал я сюда совершенно случайно, переходил зеленую границу.

Болгарская машина, на которой мы путешествовали, спотыкнулась у околицы. Полчаса пустого времени. Я вышел размяться и сразу же отметил особый, нежилой вид селения. Из труб карабкались кверху слабые дымки, вдали виднелись толпы крестьян, и все же странная нечистота домов, тишина, столь несвойственная для деревни в утреннее время, отсутствие живности говорили: это особое село, и сельчане здесь также — особые. Придорожный часовой в ветхой униформе объяснил мне, что в деревне лагерь для гражданских швабов, главным образом, вывезенных из венгерской Бараньи²¹. Я вернулся к машине, захватил табак — нет лучшего средства, чтобы разговорить подневольных людей, — и подошел к кучке пожилых крестьян.

— Да, они действительно швабы из Бараньи, но они ничего не делали русским. О партизанах они ничего и не слышали, пока те не пришли в села и не начали сгонять их в колонны. Живут здесь уже четыре месяца. Плохо живут. Хуже всего с хлебом. Два века они ели отличный пшеничный хлеб, совсем белый, а кругом все — мадьяры, сербы, буневцы — жрали кукурузу. Сейчас им дают только кукурузные лепешки, даже в праздники. 400 граммов в день — не так уж мало для таких стариков, как они, но какой позор — им, швабам из Бараньи, есть кукурузные лепешки.

Старики горестно трясут кадыками и просят у меня сигарет — вспомнить запах дыма — табак здесь не дают совсем.

Я смотрю рацион. Не густо, хотя и в три раза гуще пайка в лагерях для наших пленных в Германии. Но швабы объективно рассказывают, что сербы слишком глупы, чтобы создать настоящий лагерь.

— Овощей и картошки можно брать сколько угодно. Иногда перепадет слишком. Работа? Работать приказывают от зари до зари, но сербы слишком глупы — и мы выгадываем часок-другой. Но — хлеб! Хуже всего с хлебом. Нам, швабам из Бараньи, приходится есть кукурузный хлеб!

Подходят женщины — некрасивые, голенастые. Складывают руки на животе, начинают жаловаться все разом.

Опять поминается кукурузный хлеб. Нет писем от мужей. Много месяцев. Оказывается, что мужья в эссовских дивизиях, и я вежливо развожу руками.

Отделяю группу женщин, шепчусь с ними. Прежде чем отвечать, они осторожно озираются по сторонам. В лагере нет никакого регламента, но пленные всегда понимают, что по регламенту, а что нет. «Это» — безусловно — не по регламенту. Часовые не обидятся, если узнают о жалобах на питание.

— Ваши наших хуже кормили.

Но хотя «ваши» и делали это с «нашими» женщинами, все равно, «это» — вне регламента.

Мне показывают женщину двадцати восьми — тридцати лет. Неделю тому назад партизанский дитер²² пытался подговорить ее на «это». Она упиралась. С нее стащили юбку, усадили ее в большую лужу, посреди деревни, собрали всех швабов — для примера. Женщины горько плачут. Старики, стоящие в отдалении, печально качают головами.

Подходит комиссар лагеря, молодой парень в гетрах. Да, факт, позорящий нашу честь, действительно имел место. Весь личный состав охраны уже сменил. Виновные пойдут под суд. Сейчас мы вводим новые порядки — никаких побоев, никаких несправедливостей, но они будут получать положенные четыреста граммов кукурузы и не будут душить казенных кур в амбарах.

И мы крепко жмем друг другу руки.

■ Борис Случкий

Здесь же стоит рядовой партизан. Он смотрит на

меня с явным неодобрением. На немцев — так, как глядят на примелькавшуюся скотину, — без внимания, без уважения. Еще долго будет ущемлять партийный интернационализм югославов этот ленивый, спокойный, выработанный взгляд.

В деревне живет несколько сербских семей. Они используют немцев как рабочую силу. Очень довольны своим положением.

Много позже я прочел в газете, что выборы в Гаковский одбор дали партизанам девяносто восемь процентов голосов — наиболее позитивный вотум во всей Воеводине.

БРИГАДА МЕСИЧА

На белградском шоссе нас обогнала длиннейшая колонна — новенькие «студебекеры», «доджи», отчаянно воняющие масляной краской.

И солдаты, сидевшие в машине, также были новенькие, свежеиспеченные. Их свежие шинели и кирзовые российские сапоги странно диссонировали с цыганской пестротой партизанской униформы. Откормленные розовые рожи говорили о долгих месяцах сытого казарменного житья, о горах каши, о контроле над кладовщиками, о тучных караваях — ешь, сколько влезет!

Это была бригада Месича — Марка Месича — бывшего усташского подполковника²³. В 1941 году на Смоленщине была разгромлена 1-я усташская дивизия — гвардии Павелича. Комполка Месича взяли в плен. В лагере ему предложили формировать воинскую часть из пленных и перебежчиков — словенов из немецких горнострелковых дивизий, истриан из 8-й итальянской армии, усташей, немногочисленных эмигрантов коминтерновцев. Параллельно создавались ■

две, очень различные армии — удивительная партизанская полубанда, полусонм и регулярная часть Месича, с усташским командным составом, с нелюбовью ко всяческим «агитаторам», со скверным душком поганой отсталости балканской кадровщины.

Воевала бригада плохо. В конце 1944-го под Чачком неожиданно дала дезертиров и перебежчиков.

Начальник ОЗНА 23-й дивизии, сокрушенно рассказывал мне, что Месича уже дважды вызывали на «беседу» — чтоб не бегал от немцев — и что на него уже «заведено дело».

В бригаде был перманентный конфликт между партизанскими комиссарами и усташами — строевыми командирами. Уже перед самым моим отъездом у бригады, в наказание за трусость, отобрали большую часть автопарка (машин у бригады было больше, чем у всей югославской армии).

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Англо-американская помощь партизанам начинается в 1943 году. Когда мы пришли в Сербию, мы увидели очень небольшое число солдат в союзнической униформе. Даже комиссар корпуса Годорович щеголял в итальянском офицерском мундире — отличного сукна. В английском ходили главштабисты. Автоматы «Бренгал» (в 1945 году их отложили — вышли боеприпасы). Всеобщее недовольство мизерностью помощи и тем, что у Михайловича еще сидит американская военная миссия.

Борис
Слуцкий

В октябре 1944 года у одного из бесчисленных стандартно бетонных памятников Неизвестному солдату я разговаривал с майором — командиром бригады.

Очень молодой человек, бывший капитан 2-го класса югославской армии, позже рядовой главштабист. Он рассказал мне о первом официальном появлении перед Главным штабом миссии Корнеева²⁴. Дело было на концерте партизанской самодеятельности; в переполненный зал вошли русские. Овация. Зашедший вместе с Корнеевым англичанин хронометрирует срок аплодисментов. Это замечает главштабистская молодежь. Английская и американская миссии получила равные (по продолжительности, а не по силе) порции аплодисментов.

Во время одного из наступлений немцев Главный штаб был окружен немцами и более месяца грыз конину. Вместе с ним грызла конину американская миссия. Ее руководитель, кажется, генерал Барнес, посоветовал Тито капитулировать. Тот отправил его «к моим пролетерам» — справиться об их мнении. Пролетеры отправили Барнеса к «эбеной майка». Позже, на банкете, Барнес поднял тост за армию, которая не капитулировала в положении, в котором капитулировала бы всякая другая армия.

Черчилль послал в Югославию сына²⁵ — полковника. Отнеслись к этому примерно так же, как московские рабочие относились к печатанию в «Британском союзнике»²⁶ портретов Виндзорских филантропических королевн. Полковнику приписывали пожар в самолете, на котором погибло несколько крупных деятелей хорватского ЦК, а он остался цел. Шепоток «Интеллидженс сервис»²⁷ следовал за ним так же, как и за большинством англичан. К американцам относились намного лучше.

Жители Белграда жаловались, что союзники бомбили жилую часть города.

Нелюбовь к союзникам уменьшалась сверху вниз, но и внизу была достаточно велика. В Сербии это сочеталось с русофильством, в Далмации и Триесте — со слишком близким знакомством с оккупационны-

ми войсками. Триест и Корушка²⁸ только подлили масла в огонь. В 1945 году завезли в Югославию тридцать тысяч метров мануфактуры. Реагирование населения? Четники предполагали, что им на выручку генерал Живкович с тридцатью тысячами. Партизаны весьма прислушивались к таким слухам.

Ко времени нашего прибытия в Югославию государственное самосознание ее народа, армии, партии уже стояли на высоком уровне. Ощущение себя не только героическим народом, но и народом, отстаившим себя собственными силами.

Даже в отношении русских.

Тито в Белграде. Он вызывает начальника гарнизона, Верхововича. Гоняет его за беспорядки, пьянство в городе. Попытки сопротивления подаются шифровкой в Москву. Бочаров рассказывал, что встретившийся с ним Тито весьма резко отозвался о бесчинствах.

— Очевидно, слабо работает Ваш политаппарат? Я могу усилить Ваши части своими политработниками.

Благородное негодование Бочарова. Он парирует тем, что политаппарат РККА состоит из членов ВКП(б), партии, по отношению к которой западные компартии были только «созданием», «порождением».

Говоря «наш Сталин», партизаны не только лиризировали. Ощущение Сталина, как Верховного арбитра, в том числе и между ними и местным советским командованием. Ощущение Сталина как практического руководителя. «Тито — югославский Сталин?» — понималось, как Сталин югославского масштаба.

В начале штурма Белграда Жустович и Тодорович с тревогой просили меня изменить фразеологию красноармейских газет. Вместо «освобождение Белграда Красной Армией» формулировать: «освобождение Белграда Красной Армией и югославскими войсками», ввести отдачу чести югославским офицерам, ■ прекратить третирование югославской армии, как

неумелой и второстепенной. Все это было особенно важно, потому что Белград часто соединял и противопоставлял свое русофильство своему антититовизму, ехидствовал над голоштаным войском, иногда даже демонстрировал соответствующие чувства.

Моя шифровка осталась без ответа.

Мой доклад на крыше Аношину и Галиеву²⁹ вызвал раздражение нахалами. Позже Москва смела все эти глупости.

Руководители полагали Югославию советским ядром Южной Европы, мыслили ее интересами. Осенью к коменданту Печа³⁰ явился комиссар партизанской дивизии и, опираясь на три батальона, заявил права на город и Баранью. В Байе, где сербов не более шести — восьми процентов, устраивались митинги с требованием присоединить город и всю Бачку³¹ к Югославии. Партизаны заняли прилегающие к Радкерсбургу словенские и полусловенские села, выгнали бургомистров, выбрали одборы, установили твердый порядок.

В Радкерсбурге³² на дверях бургомистра приколотили плакат «Тука — Югославия».

Когда из Граца сюда прислали 100-граммовые хлебные карточки — их заставили отослать назад, выдавали по 500 граммов в день, хоть и приходилось везти из Марбурга. Не допускали австрийских газет. Комендант города (в июне), совсем мальчик, говорил мне:

— Мы-то знаем дипломатию. Сейчас наши в Москве просят у Сталина, чтобы он отдал нам Радкерсбург. Вот если он согласится — тогда мы здесь развернемся по-настоящему.

В Венгрии, притязая на Рабскую долину (славянский коридор, соединяющий Чехословакию с Югославией и разъединяющий Австрию с Венгрией), партизаны не только фальсифицировали этнографические карты, но и перегоняли через границу целые словенские ■

села, митинговали, открыто вступали в конфликт с нашими комендатурами. В мае партизанский батальон «присоединил» к Югославии Фюрстенфельд³³ к величайшему удивлению нашего коменданта. Помню, что во время грабежа Радкерсбурга туда хлынули сотни словенцев — из Мурской Сobotы и окрестных деревень. Брали барахло — ухваты и подушки. Что получше, уже было отправлено домой в ста четырнадцати посылках по батальону за три дня, о которых лихо рапортовал начальству замполит одного из батальонов. Помню старика, оборванного, выгоревшего, пыльного, просившего меня сохранить ему краденое одеяло. «Все немцы забрали», — кричал он. Уличенные, словенцы покорно складывали награбленное обратно, козыряли, заворачивали велосипеды, уезжали. Отношение австрийского ЦК ко всем этим делам было двойственное — заявить об отдаче коренных австрийских территорий означало потерять авторитет в своем народе. В то же время чувствовалась их зависимость, более того, вторичность по отношению к Белграду и Любляне. Позднее было дано известное интервью Фюрнберга корреспонденту «Борба». Подполковник, комиссар дивизии говорил мне: «Мы — это Вы здесь. Чем больше мы нахватаем, тем сильнее мы будем (и, следовательно, и Вы). А если в Венгрии, Австрии, Италии победят демократы — мы всегда столкнемся с ними на платформе сталинской национальной политики».

На все доклады о партизанских художествах Бочаров клал резолюции: гнать без разговоров.

Места исполняли очень вяло, так что партизаны чувствовали наше вмешательство только в самых крайних случаях. Наш солдат сочувствовал всем их притязаниям и сыпал им в охапку австрийское добро точно так же, как накладывал он австрийские кофры на телеги к землячкам, уезжавшим на родину.

Борис Служкий

■ Весной 1945 года Волгин выезжал в Хорватию, в

район Вировитицы, вещать для первой казачьей дивизии.

Она состояла из пяти бригад — двух донских, терской, сибирской, кубанской. Немцы учли «казачьи традиции» и тренировали дивизию в духе легенд о «самсоновских зверствах»³⁴ в Восточной Пруссии. В октябре 1944 года после усмирения Варшавы казакам отдали на поток и разграбление целые кварталы. На три дня. Эсэсовцам в таких случаях просто увеличивали лимиты посылок. 1-м Донским полком командовал Иван Кононов, в прошлом участник финской войны, командир полка, подполковник Красной Армии. На груди — в ряд — он носил ордена «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Железные кресты» — 1-й и 2-й степени.

Говорил с солдатами на ломаном украинском языке, называя их братки.

Во всех эскадронах сидели заместители по культурно-просветительной части, бывшие офицеры Красной Армии. Агитировали однообразно, но эффективно: нам возврата нет, наши головы давно сосчитаны.

То ли с этой агитации, то ли с большой крови казаки напивались в сербских деревнях, рыдали: «Предали мы!», «Братоубийцы!», ходили в соседние села — бить усташей, обижавших сербских (православных) девушек!

В Шиклоше, после оттеснения казаков за Драву, они оставили нам письмо — большой клок грязноватой бумаги. Оно было былинно заложено стертой подковой.

В письме было сказано: «Вы нам не верите. Это правильно. Но мы сволочи, да не все. Мы себя еще оправдаем» (вот еще словцо со свинцовым запахом — типичное для этой войны).

Десятки казаков перебежали к партизанам, пополняли русские роты хорватских и словенских дивизий. Другие десятки — отчаявшиеся полицаи, вешатели из кубанских и терских станичников, просто Иваны, не

помнящие этой войны, не помнящие ни звания, ни родину, — резались с мрачным отчаянием сосчитанных голов». Их конный строй растворял не только боевые порядки партизан, но теснил и наши стрелковые дивизии.

Этим-то людям и надо было вещать ростопчинскую афишку.

Не следует забывать, впрочем, что от ростопчинских афишек³⁵ однажды сгорела Москва. Самые ернические формулы приобретают эпохальный характер, если их вещать через 500-ватный усилитель.

Вещание не получилось. Партизаны, оборонявшие этот участок, предложили слишком маневренный способ прикрытия машины: «Мы выбросим в наряд две роты, партизаны «попуцают малко» — потом вы удирайте вместе с ними на новые позиции». Волгин отказался ко всеобщему удовольствию.

* * *

У Югославии есть качества, которые помешают ей впоследствии превратиться из государства профессиональных революционеров в державу наследственных столоначальников.

В Белграде пожилой республиканец говаривал мне: «Что до царубийств, то у нас с этим благополучнее, чем даже в России. За сто пятьдесят лет не более двух царей умерло в своей постели»³⁶.

Этот дух чувствуется и в выстреле Принципа³⁷, и в том, что соперничающие династии на протяжении столетия четырежды меняли друг друга, и в том, как на конгрессе молодежи две тысячи человек согласно скандируют:

«Не - о - чем — кра - ля. О чем — Ти - та!»
«Не - о - чем — кра - ля. О чем — Ти - та!»³⁸

У народа требовательное, почти советское отношение к своим властителям. Недаром так популярен до сих пор Петр I³⁹ — сын крестьянина, сам выбившийся в люди, кряжистый дипломат и герой 1914 года. Его нерешительному внуку в народном сознании естественно противопоставляются орлиные надбровья маршала.

В Белграде, после боя, ансамбль 73-й гвардейской дал концерт для горожан. Присутствовавший Жуйович неодобрительно отозвался о программе концерта — слишком много любви и плясок, слишком мало ненависти. Мы строим пропаганду не так.

Партизанские девушки, наверное, смотрели на ППЖ, как на существа особенного, скверного сорта.

В этой армии дополнительный офицерский паек (конечно, законно оформленный, а не явочный) был невозможен. Даже жалованье офицерам стали платить на пятом году войны. Когда думаешь о партизанах, сначала вспоминается дурацкий трафарет на стене: «Живе ли героиску комендант првой четы Иован Иованович и негова другарица Катька»⁴⁰, а потом слова Ленина о великой пролетарской революции на взрыленной, упорядоченной, организованной европейской почве, удобренной всей кровью и всем дерьмом нашего примера.

ВЕНГРИЯ

ФРАНЧИШКА¹

В ноябре дюжина наших разведчиков переплыла мутный Дунай, оглушила мерзших в окопах босняков и заняла село Батину. Здесь разыгралась самая жестокая битва из тех, что были в эту войну на югославской земле.

Шесть дней подряд я спал в винном подвале, на шинели, брошенной на две огромные бочки с вином. Вино было отличное, но его почти не пили. Говорят, также отказывались от пищи в Сталинграде, после бомбежки. Трезвые бледные солдаты скушливо ходили в этом винном раю. Немцы беспрестанно бомбили паромы и каждый день, обязательно, топили по одному. Тем не менее, на берегу толпились тысячи людей, стремящихся попасть в тыл. Раненые, с перекошенными от страдания лицами, бросались к мосткам, хрустя гипсом, розовя свежие бинты. Партия фрицев была основательно избита — они тоже (?) хотели переправиться на тот берег. Крестьяне, оставшиеся в мышеловке, отрезанные со всех сторон фронтом и Дунаем, потихоньку стонали от страха в подвалах.

Борис
Слуцкий

Над переправами господствовали высоты — 205, 206. Немцы били с них по паромам прямой наводкой. Семь дней высоты штурмовали озверелыми от потерь бойцами. Наконец прошел слух, что высота 205 занята сталинградцами. Санинструктор Клавдия Ле-

гостаева водрузила на ней полковое знамя. Это означало конец битвы, очередной отпуск от смерти. На плацдарме быстро распространилась радость. Легостаевой охотно простили легкое поведение, истеричность, грубость. Стали припоминать ее положительные качества, припомнили одну только общительность, но все же послали в армию реляцию на орден Красного Знамени.

Часа через два стало известно, что высота по-прежнему у немцев. Клавдия, никогда не учившаяся топографии, воткнула знамя в какой-то горб в полукилометре от гребня, в двухстах метрах ниже нашей передовой. Тогда генерал Козак собрал своих, вертевшихся на наблюдательном пункте, помощников и заместителей и выгнал их в роты — подымать солдат. Ночью цепи, в которых майоров было столько же сколько и красноармейцев, выполнили задачу. Немцев на высоте уже не было. Они ушли, как ушли два года назад из прославленной рощи «Ягодицы» на Западном фронте.

Здесь в Батине решено построить памятник павшим героям. Фронтовой архитектор компоновал его из танков, медленно выползающих на берег. Югославы отвергли его проект, и их лучший архитектор Августинчич готовит огромное сорокаметровое сооружение из белого далматинского камня. Это будет сложная смесь из знамен, обелисков, орудий и других каменных иероглифов доблести и воинской удачи.

Итак, линия Дуная была прорвана. Немцы бежали. Между 57-й Армией и Венгрией не стояло более ничего, и 57-я Армия, соскабливая гусеницами грейдеры, вторглась в Венгрию.

Деревни и города бежали в ужасе, бросая некормленных коров и красные связки перца на заборах. Жители города Могач бросили город Могач. Эта неблагонадежность была покарана солдатами реквизицией всего движимого в вещевых мешках имущества. ■

Где-то перед Печем танкисты перегнали и немцев, и беженцев и сходу взяли город с действующим трамваем, с лучшим в Венгрии заводом шампанских вин, с огромными запасами хромовой кожи, с традиционной гордостью своим римским именем — Софиане².

Здесь моторизированное нашествие дало ответвления. Северное из них устремилось к Балатону. В день оно распространилось по всему южному берегу озера, топча розы на пансионных клумбах, загоня в виноградники дрожащих курортников.

В Фельдваре, у ворот большого особняка, танкистов встретила моложавая женщина, с бровями, настолько выстриженными, что, казалось, их пришлось пририсовывать заново. В ней было странное обаяние очень молодой девушки, девчонки и актерская уверенность в себе. Она быстро поняла реквизиционные намерения гостей и категорически заявила: «Нельзя! Я — Петер! Петер из фильма».

«Врешь, сука, — сказал танкист. — Я Петера хорошо знаю». И отскочил, ошеломленный. Женщина легко изогнулась, прищелкнула языком и запела песенку, свою песенку, из тех, которые остаются на слуху. Через час весь батальон знал о Петере. Темп наступления замедлился. Штаб в полном составе рассматривал альбомы «Петера», «Катерины», «Маленькой мамы». Замполит вел дипломатические разговоры. Комбат вежливенько ухаживал, косясь на мужчину с толстыми негритянскими губами, — при Петере был муж. Незадолго до войны Франчешка (Франчишка, как ее зовут на родине) гастролировала в Америке. Поссорилась с Голливудом, где посмеялись над ее захолустным, европейским лиризмом. Вернулась в Венгрию. Здесь ее ожидал бойкот, расовые законы, изоляция в озерном поместье. Таких почетных полуарестантов в военной Венгрии было предостаточно — польские министры, перешедшие «зеленую границу» в Карпатах, английские офицеры,

бежавшие из австрийских концлагерей. В трудную минуту их, возможно, выдали бы немцам. Но трудная минута не подошла, и они отлично прожили эту войну.

В Фельдваре Франчишку навещали аристократы, генералы, родственники Хорти³. Ее самоуверенность и надменность следует рассматривать не в венгерском, а в общеевропейском плане. Она никогда не забывала, что у себя на родине она была единственной звездой первой величины, прямой мирового масштаба.

Когда пришли наши, Гааль обратилась с письмом к командующему Балатонской группой. Просила вывезти ее в Капошвар. У нее был план с этапами — Капошвар — Дебрецен — Москва. Гастроли в СССР. Восстановление старых связей: Петров, Александров, Любовь Орлова. Работа для радио — она была уверена, что ее голосок еще способен растрогать закоренелых в фашизме эзсовцев. Реставрация блекнувшей славы. В Капошваре у нее был салон — единственный на моей памяти салон за всю войну. Там не поили чаем, папиросы приносили сами гости, но интеллигентное офицерство всячески добивалось чести приглашения. Разговоры здесь носили изрядно пошлый характер. Никто толком не знал языка. Франчишка излагала свое русофильство и антифашизм — на уровне газетки канадского ВОКСа⁴. Ее муж сколько любопытствовал о деталях жизни в СССР. Офицеры почтительно интервьюировали.

— Ваше мнение о Чарли Чаплине?

— Ваше мнение о Любви Орловой?

Франчишка была отличного мнения о Чарли Чаплине и Любви Орловой.

Комендант города майор Захаров, все вздыхавший: «Эх, если б мужа около нее не было», — пригласил ее на новогодний офицерский вечер. Здесь она была замечена (как было не заметить) одним боль-

шим начальником. Определена как существо инородное, вредное, разлагающее и удалена из зала. Она никогда не вспоминала об этом. Только вздрагивала и улыбалась особенно горько.

Когда она вовсе надоела генералам своими просьбами, ее вызвали в комендатуру на допрос о целях, с которыми она собирается ехать в Москву. Она пришла — замкнутая, оскорбленная, совсем королева в изгнании. Отвечала четко и лаконично. Услышав обычный вопрос: сколько вам лет? — вздрогнула, побледнела:

— Вы никогда не заставите женщину отвечать на это. Актрисе столько лет, сколько ей можно дать!

Когда-нибудь многие офицеры будут хвастать ее автографами, карточками, где рядом с майорскими погонами сияет прославленная улыбка, до конца убежденная в своей фотогеничности.

В МАРТЕ МЕСЯЦЕ

В марте 1945 года немцы начали генеральное наступление на 3-й Украинский фронт. «Рамы»⁵ разбросали над нашими окопами листовки: «Жуков загнал нас за Одер, но Толбухина мы выкупаем в Дунае». Каждую ночь перед позициями работала вражеская МГУ. Тоненьким голосом Тося из Брянска ругала колхозы.

За четыре месяца до этого наши части расколо-
тили на Дунае эсэсовскую мусульманскую дивизию
«Ханджар» (кинжал). Это были эсэсовцы второго
сорта, поскребки, одно из провинциальных форми-
рований, изобретенных Гиммлером в самое по-
следнее время. В марте мусульман тайно убрали в
■ тыл, а на их место во второй эшелон поставили

свежую, молодежную, переброшенную из Италии эсэсовскую мотодивизию. По дороге в Венгрию им выдали новые солдатские книжки и строго-настро-го переименовали в мусульман. Камуфляж был про-веден ловко, споро и удался полностью. В первые два дня боя наша разведка доносила, что наступа-ют босняки. Таким образом, силы противника за-нижались почти в два раза. Это были последние, золотые деньки немецкой разведки, ее бабье лето.

План немецкой ставки заключался в одновремен-ном тройном ударе. С севера из Секешфехервара вто-рая танковая армия СС, переброшенная из Франции, выходила к Дунаю и, спустившись вниз по его право-му берегу, перерезала все коммуникации Толбухина. Вспомогательные удары с юга (казаки) и с запада (псевдомагометане) должны были сбить нас с пози-ций и погнать в Печ — под эсэсовские танки. В слу-чае удачи центр войны переносился далеко на юг. Вы-рисовывались перспективы — поднять против Крас-ной Армии незамиренную Румынию, Болгарию, про-рваться на Украину, вырвать почетный мир на чужой территории.

За два дня до начала наступления мадьяр-перебеж-чик прошел через два минных поля, переправился че-рез колючий ручей, рассказал все.

Армию и штаб охватило горячее предбоевое возбуж-дение. После четырех месяцев тихой зимы предстояла схватка — быть может, последняя в этой войне.

В один из первых дней наступления я собрал об-ком партии. В городе были явственно слышны раз-рывы снарядов. Еврейский комитет запросил меня, эвакуироваться или нет, и, несмотря на мой успо-коительный ответ, по дороге на Печ потянулись бедные повозки с потерянными, грустными бежен-цами. Каждый день немцы продвигались на пару километров. В день совещания интервал не превы-шал семнадцати километров. ■

Четвертый раз я требовал у обкома людей для перевозки на ту сторону. Перед этим пришлось забрковать двух коммунистов, запросивших по пятьдесят тысяч пенго на покрытие дорожных расходов. Теперь я просил «идейных». После короткого обсуждения стало ясно, что людей не будет. Перебирал фамилии, обкомовцы пугливо отводили глаза друг от друга: никому не хотелось умирать в мартовском мокром снегу. Я прямо спросил у Розенбергера, молодого врача с умным смелым лицом: «Вы-то сами пойдете?» Он беспомощно пожал плечами: «Не знаю».

Я уже сталкивался со многими вариантами дисциплины — с великой дисциплиной коммунистических батальонов, молчаливо и неумело идущих на смерть; с выдержкой сербских партизан, стоящих босиком на мерзлом асфальте; с идейностью московских студентов, уезжающих из столицы в Киргизию — в двадцать лет лечить сифилис и трахомы; наконец, с армейской «средней» дисциплиной — удивительной смесью из патриотизма и заградотрядов⁶, страха перед штрафной ротой и страха перед народным презрением, синтезом политграмоты и высокого патриотизма.

Здесь не было никакой дисциплины. Обкомовцы покорно признавали это.

Партии грозила опасность выродиться в артель для проведения выборов, в необязательные двадцать процентов голосов, которые никогда и ничего не решают.

Версальский мир мудро отбирал у побежденных не только оружие, но и право вооружаться⁷. Поколения утрачивали военные традиции, идеологически демилитаризировались. Двадцать лет подряд военный бюджет уходил на здравоохранение, стандартные особняки, стимулирование отечественного льноводства. Магьяры, как нация, потеряли выправку. Немцы спаслись от этого «Черным рейхсвером»⁸. Все это отражалось на национальном духе и, вторично, на духе партии.

Идея: «Мы маленькая страна» — пахнет мюнхенской капитуляцией⁹. Магьяры одновременно отказывались не только от мировой истории, но и от многих иных мировых страстей.

Удивляла их тупая покорность немилостивой судьбе. Акты сопротивления встречались только в немецких селах. Семьдесят процентов населения обожало Хорти. В октябре он по радио призывал к сопротивлению немцам¹⁰, и за ним пошло несколько сот евреев из гетто и чепельские рабочие с ручными гранатами.

Одной из ошибок нашей пропаганды была «армия Вереша»¹¹. Магьяры не хотели воевать ни за кого, даже за тех, кому они вполне верили. Героизм проявлялся только при перебежке.

Тринадцать шпионских школ работало против нас в западной Венгрии. В лесных хуторах высаживались партии парашютистов. Но недаром мало надеявшиеся на них немцы вооружали их не автоматами, а дешевыми карабинами. Диверсанты мерзли на поворотах, поджидали наших шоферов и сдавались даже полевым кухням.

Женщины, не столь развращенные, как румынки, уступали с позорной легкостью. Один из моих офицеров, проанализировав, почему Н. — светская дама, жена арестованного офицера, любившая своего мужа, отдалась ему на третий день их знакомства, решил: немножко было любви, немножко беспутства, а больше всего, конечно, помог страх.

Я часто замечал в те месяцы: магьярам не нравилось быть магьярами. Они стыдились своей национальной принадлежностью. Шкура оказалась паршивой. Хотелось из нее вылезти.

Покорность эта тем нагляднее, что если в Австрии и Румынии все кошки точно знали, чье мясо они ели, здесь кошки всю войну просидели на диете — приказы о смирном отношении к русскому населению не только отдавались, но и выполнялись. В стране не применялся труд плен-

ных. Кажется, не было системы посылок. Наиболее острым актом сопротивления был, наверное, случай в Фоньоде — маленьком Балатонском курорте, вытянувшемся двумя цепочками пансионов на южном берегу озера. В хорошую погоду здесь можно легко различить противоположный берег.

Старик и старуха, жившие одиноко и скромно, послали письменное приглашение всем соседям — посетить их дом завтра утром. Собралось несколько десятков человек. Они увидели старинную двуспальную кровать, застланную белыми покрывалами. На кровати рядом лежали застегнутые на все пуговицы, в черном, старики. На столике нашли записку — не хотим жить проклятой жизнью.

Кажется, на меня эта история подействовала сильнее, чем на всех туземцев Фоньода.

Какой-то англичанин сказал о правителях Венгрии, что это прохвосты, которые надеются, что джентльменские манеры помогут им избежать наказания. Действительно, джентльмены оказались прохвостами. В каждом венгерском городе была улица имени Атиллы¹². Воинственных гуннов считали прародителями мадьярского народа. Тем не менее, генерал Вереш собрал армию не то в два полка, не то в две роты. Венгрии было суждено оставаться объектом, а не субъектом этой войны.

Здесь уместно вспомнить, с чем пришли наши в Венгрию. Эта была первая страна, не сдавшаяся, как Румыния, не перебежавшая, как Болгария, не союзная, как Югославия, а официально враждебная, продолжавшая борьбу. Запрещенная приказами месть была разрешена солдатской моралью. И вот начали сводить счеты.

В 1944 году, в декабре, в католической церкви в Пече шло богослужение. Печальное и пугливое, оно собрало девушек, оплакивавших невинность, и монахов, предвидевших гибель монастырей. Внезапно

на кафедру взошел лейтенант Красной Армии, молодой, простоволосый. Стало тихо. Пастор отодвинулся в сторону, и юноша сказал:

В Воронеже мадьяры замучили моих родителей. Муттер унд фатер. Мать и отца. Молитесь за них!

Он стоял недвижно, внимательно наблюдая за усердием молящихся. Его поняли. Все повалились на колени. Органисту было сказано: играй! Попу приказали: молись, певчим — чтобы пели. Панихида проходила, как положено. Лейтенант хмуро осаживал уставших молельщиков, пробовавших подняться с колен. Прошло пятнадцать минут. Лейтенант жестом остановил моление и неслышно ушел.

Характерным для отношения мадьяров к нам был *страх*. Целые классы, народности подготавливались к партизанской борьбе. Однако все немецкие районы, несмотря на массовость фольксбунда¹³ и поголовное зачисление фольксбундистов в «черный легион», распластались перед нами. Вся венгерская молодежь была «загнана» в фашизированную организацию «Левенте», и все левентисты получили приказание о вооруженной борьбе. И все же почти не было серьезных актов сопротивления.

Гауляйтеры оказались недостойными сравнения с секретарями райкомов. Антисоветская партизанщина провалилась уже в самый момент своего возникновения, добавив к страху, как таковому, страх за попытку сопротивляться.

В итоге наш солдат презрел окружавших его врагов и пренебрег всякими возможностями их сопротивления.

Ночным поездом в Тимишоару прибыл сержант. Тщетно простучавши с часок в негостеприимные окна, он подошел к мерзнувшему под фонарем румынскому полицейскому и приказал ему буквально следующее: «До рассвета я лягу спать около тебя. Вот тебе граница, через нее не пускай никого», — и он очертил ■

сапогом окружность с пятиметровым радиусом. Городовой покорно отгонял столпившихся наутро зевак и сдал сержанта только нашему комендантскому наряду.

Когда убивали по хуторам пьяных и отставших одиночек, когда тащили их, недоубитых, в силосные ямы, в последних их воплях звучали не только страх, боль, гнев, но раньше всего недоумение: скотина зарычала; волки сбросили бараньи шкуры.

В 1945 году, в марте месяце, в маленьком венгерском городе Байя, красноармейцы убили инженера Тота.

В то время байская переправа через Дунай, просторная, как караванная дорога, была почти единственным перешейком, связывающим уменьшающийся плацдарм 3-го Украинского фронта с Задунайской Венгрией и Россией. Ее беспрестанно бомбили. По Дунаю шел лед. Куски льда трещали по балкам, выталкивали понтоны, грозили стереть в щепку переправу. Наши шофера, стремившиеся не задерживаться на мосту, с удивлением посматривали на работавших здесь же румынских саперов. Они стояли по пояс в воде. Синеватая чернь их волос странно разнилась с белизной ледохода. Работали по суткам, без благодарности своего трясущегося перед новыми союзниками начальства.

Расположенная «по ту сторону» Байя была естественной станцией, заезжим двором, где останавливалась напуганная бомбежками шоферня. В это время во всей остальной Венгрии комендантские офицеры уже жирели от безделья. Здесь же каждый день грабили, насиловали, убивали.

Однажды ночью в дом инженера Тота постучали. Тот был «особенным» человеком — так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник, изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь противореча-

шую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту — нельзя бояться. Может быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам.

Его убили через полчаса. Жена Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по-русски: «Я — коммунист». Протягивал им партийный билет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие доводы останавливали самых черных насильников.

На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне, как они стояли у могилки — двадцать человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали, потихоньку плакали.

У них не было даже обиды на убийц, того возмущения, которое проявили бы в подобном случае югославские партизаны. Это ощущение я часто наблюдал в Венгрии — чувство бесконечной виновности перед пришедшими с Востока товарищами. Способность снести от них любое унижение.

В Афинах существовал закон: граждане, не примкнувшие во время междоусобиц ни к одной из борющихся партий, — изгонялись. Изгнанию подвергались и те, *которые примкнули слишком поздно.*

Когда я спросил у капошварских коммунистов, отказавших мне в людях для переброски, что они собираются делать, если в город ворвутся немцы, они отвечали: «Попросим винтовок и будем сражаться до последнего». Наверное, это правда. Трудно воевать одному. Тарле доказывает, что 1812 год сделал народ, государственно организованный в регулярную армию, а не народ, добровольно пошедший в партизанские отряды.

Трудно воевать одному. Кто знает, виной или бедой мажарских коммунистов была их одиночество среди своего народа.

В воспоминания об отношении нашего солдата к Венгрии вплетается удивительная по своему жанру страница. Это было в Будапеште. Излюбленным местом наших курсантов здесь был «англо-парк», вполне жалкое заведение, комбинация из балаганов и киосков с мороженым: побывав в комнате страха и комнате смеха, я уединился в фанерном клозете. Здесь были обнаружены две надписи потрясающего содержания:

«И вот мы взяли Будапешт и гуляем по англо-парку. Думал ли ты, Ваня, что мы когда-нибудь достигнем этого?»

«Испражнялся в англо-парке. Да здравствует советская власть, которая привела нас в Будапешт!»

Что еще запомнилось из Будапешта?

Столицы балканской и средней Европы не интересны в архитектурном отношении. Преобладает особнячковый стандарт (пусть одна комната, но с кладовой, клозетом, ванной). В городе один показательный небоскреб.

В Будапеште всем приезжим показывают самолет, врезавшийся в седьмой этаж семизэтажного дома. Хвост и часть корпуса сохранились и торчат индейской стрелой. Летчик долго смердел, сначала паленым, потом гнилым мясом.

В день нашего приезда была демонстрация благодарности Сталину, приславшему в город продовольствие и грузовики. Я стоял у кафе, где пили пиво спекулянты и женщины — с чернобурками на истощенных плечах. Осадный голод еще проступал в однообразно тонких ногах женщин. Мимо кафе шла рабочая колонна. Вдруг двое рабочих подбежали к тенту, закричали: «Спекулянты! Все равно всех вас уничтожим». Посетители сидели тихие, бледные, не смели поднять глаза.

Борис Слуцкий

■ Митинг был немногочисленный — коммунисты в форменных красных рубахах, незабываемое, беззаветное

приветствие «Рот фронт!» Оно мне напомнило большой портрет Тельмана, «забытый» в цеху лампового завода в Москве во времена пакта¹⁴.

Самый величественный из монументов Будапешта — громадная чугунная фигура графа Тиссы¹⁵, убитого в 1918 году. Недавно ее зацепили тросами и стащили с пьедестала. Сейчас Тисса смиренно лежит ничком на Дунайском берегу. Поблизости на площади мраморный памятник жертвам красного террора¹⁶. Золотом высечен длинный список имен. Мрамор обскребли случайные пули, но саперы наши слишком плохо знали венгерскую историю, чтобы нечаянно взорвать вредный памятник.

КАК ПЕРЕХОДИЛА РОТА

В конце февраля я прожил неделю в огромном помещицьем имении в лесу, что южнее восточного Балатона.

Здесь была отличная библиотека с альбомами старых фламандцев, экспрессионистов и ежегодниками «Салона»¹⁷. Все это тщательно рассматривалось и обсуждалось в штабе полка. Ван Дейк¹⁸ признавался скучным, а «ню»¹⁹ «Салона» — завлекательными и порнографическими.

«Ню» подбрасывали телефонисткам, и те визжали от благородного негодования.

Владелец имения бежал через озеро к немцам, и возмездие обрушилось на его розовых свиней — их ел весь полк, их же делили на равные пятикилограммовые порции, оправляли в полотно, отсылали в посылках.

Офицерский повар подавал к обеду грязное ведро с отличным старым вином. Отдельно для понимающих ■

подавался спирт и еще сливки и горы всеми презираемого немецкого фабричного мармеладу.

Однажды утром нас разбудили разведчики. Они были мертвецки пьяны — сложным четырехчленным ершом²⁰. Их командир взвода требовал немедленных реляций. В доказательство предъявлялись два пленных — первый трофей взвода за всю венгерскую зиму. Я заметил, что один из пленных ухмыляется в кулак. Мужичий сарказм его улыбки показался мне таким земляческим, що я спытав: «Чи не з Ужгороду будеш, друже?» — «Та ни, пане майоре, я сам мукачевский»²¹. И вот мы сидим в столовой, земляк хозяйственно, с двойным переخیлом²² рюмки глотает спирт, рассказывает.

Сегодня ночью их дозоры поймали трех разведчиков. Привели к командиру роты. Его, Гусака Василя, вызвали переводить. Капитан сразу повел себя как-то странно — был вежлив, даже услужлив, предложил пленным молока с хлебом, извинился, что другого ничего нет. Русские выпили по кружке, осмелели, попросили еще. Тогда, выгнав из землянки всех посторонних, капитан дал Гусаку секретное поручение чрезвычайной важности: переправиться через канал, пройти в русский штаб и передать, что наступать на этом участке можно. Он, капитан Кирай, и вверенная ему рота стрелять не будут. Сейчас они боятся немцев, но, если русские придут в их расположение, все до одного сдадутся в плен.

В помощь Гусаку был дан личный ординарец капитана и один из пленных.

В то время линия фронта носила странный характер. По сю сторону канала тянулись наши окопы. Солдаты дежурили там по двенадцать часов, а потом отсыпались в ближней деревне. По немецкому берегу канала осторожно ползали бронетранспортеры. Главной их задачей было не пропускать через канал мадырских перебежчиков.

Военный Совет в штабе полка с негодованием отверг всякие экскурсии за пять километров в тыл противника. Их, конечно, сочли «провокацией» и «дезинформацией». Решили: пусть мадьяры сами ходят мимо бронетранспортеров. На эту тему было составлено письмо с торжественным обещанием сохранить жизнь для всех и холодное оружие для офицеров. Оно было отлично написано, я до сих пор вспоминаю с удовольствием его энергический и в то же время великодушный тон. Позже, кажется, все маршалы переписывали с него свои ультиматумы.

Письмо понес все тот же Гусак. Он отнекивался. Отнекивания по-украински звучат куда убедительнее, чем если бы они были произнесены по-мадьярски — через переводчика. Я компенсировал Гусака пачкой сигарет и обещанием отпустить домой в первую очередь.

Василь благополучно добрался до своего капитана. Тот прочитал письмо, повздыхал немного и поднял по тревоге всю роту. В штаб батальона он донес, что выступает для отражения переправившихся через канал большевиков. Кухни с поварами были предусмотрительно оставлены на месте — для маскировки. Один из взводов — шестнадцать человек — был расположен в трех километрах, и Кираи побоялся ждать его прихода.

Двенадцать часов ночи. Темно. Грязно. Солдаты потихоньку ругались по поводу наступательных планов своего командира.

В полукилометре от канала капитан остановил и построил свое войско. Объявил, что договорился с русскими о переходе. Ничем не мотивировал свой поступок — он был слишком уверен в боевом духе солдат. Сказал, что не будет препятствовать нежелающим остаться на берегу. В немецкой армии, в аналогичном положении, нежелающих пристрелили бы как собак.

На нашем берегу роту уже поджидали разведчики. Пришли все восемьдесят человек — на двух нежелающих злобно зашикали, и они пошли вместе со всеми.

Мосток был очень шаткий — пожарная лестничка, и переправа затянулась на полтора часа. Около восьми часов утра мы возвратились в ликующий штаб полка. Предупрежденный комендант поднял среди ночи поваров, и нас ожидал царский пир.

Офицеров угощал я сам — на манер Петра Великого²³. Им гостеприимно подносили стаканчики с лояльного цвета жидкостью — ром, разведенный спиртом. Они пили и замирали. Их дружески били по плечу — они казались чертовски симпатичными в эту минуту. И вообще вся война казалась симпатичным, интересным, не очень утомительным занятием.

В соседней комнате — у разведчиков — шла совместная солдатская трапеза. Наши проявляли благородство бескорыстия. Мадырам оставили даже часы. Сняли с них только овчинные поддевки, вразумительно пояснив, что вам в теплом лагере сидеть, а нам еще придется в окопах померзнуть.

В разгаре пиршества я отозвал в сторону пьяненького капитана. Хмель мгновенно соскочил с него. Это был типичный «приписник»²⁴ инженер, семьянин, член муниципального совета своего городишки. А ему предлагалось: вернуться в бывшее расположение роты и привести недостающий взвод. Мотивация была убедительная, кадровая, военная. Командир роты отвечает за всю роту, и нечего забывать целые взводы, принимая ответственное решение. При этом мои ассистенты выкрикивали лозунги вроде: «как стрелять в русских — так всей ротой, а как переходить к русским — так взвод оставляете». Запуганный Кирай поторговался немного. Потом вызвал младшего лейтенанта и под козырьком приказал ему на следующую же ночь отправиться за взводом.

В этот раз усталость моя и странная уверенность в успехе были так велики, что я не пошел на передовую и преспокойно лег спать в штабе полка.

В шесть часов утра меня разбудили — пятнадцать мадьяр дожидались моего решения.

В лагерь они шли солидной колонной, в полной форме, с раздутыми вещевыми мешками за плечами. Их конвоировало двое автоматчиков. Сзади ехали телеги с их вооружением. Со всей округи сбегались венгерские бабы — посмотреть на необычайную процессию, всунуть хлебец или ком сыру. Солдаты корректно отказывались. В полку им надавали на дорогу — жареной свинины, мармеладу, сухарей.

* * *

Вскоре мне пришлось участвовать в истории, которая может служить косвенным продолжением вышеописанного.

Военный Совет решил распустить по домам сотню-другую пленных мадьяр. Можно было не сомневаться, что слух об этом пройдет сквозь ноздреватый, пунктирный фронт и серьезно повлияет на противника. С этой целью я посетил небольшой пересыльный лагерь. В кармане у меня лежало двадцать удостоверений. Их лаконичность и определенность напоминали справку: «Разрешается жить на белом свете». Такие справки атаман Григорьев²⁵ выдавал, отпуская задержанных, которые оказывались не коммунистами, не махновцами и не евреями. Надлежало подыскать двадцать фамилий для простановки в удостоверении.

Я подобрал потребное количество пленных. Это были, главным образом, отцы семейств, уроженцы

■ ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

областей, уже занятых Красной Армией. Вызывал их по двое-по трое, опрашивал, торжественно вручал документы, жал руки. Форменное вытягивание во фрунт быстро сменилось у них чувствами человеческими. Иные тихо, стыдливо плакали, здесь же, отойдя в уголок. Один пытался поцеловать мне руку. Другой троекратно прокричал: «Да здравствует Красная Армия!»

Под самый конец разыгралась трагедия. В комнату, где шло вручение документов, вбежал пожилой солдат, с мозолистыми крестьянскими руками и отчаянием в глазах. Это был земляк, однодеревенец, сосед двадцатого номера. По всем пунктам он не уступал своему приятелю, которого мне подсунул писарь. Однако удостоверений было всего двадцать. Отбирать же документ одного из отпущенных — через полчаса после торжественного вручения — было еще труднее, чем отказывать новому просителю.

И я прогнал солдата.

Потом начались сборы. Политичные повара подзывали мадьяр к весам, заставляли свидетельствовать точность выдаваемой им трехдневной нормы. Когда разделили буханки и увязали мешки, я выстроил всех двадцать в лагерном дворе — на предмет выслушивания моей напутственной речи. У стен безличным греческим хором стояли *не вошедшие в число*.

Я сказал:

— Ну что, увидели, как воевать против России? Надо было вам уходить из деревень? Так знайте же: сейчас мы отпускаем вас, но ваши росписи остаются нашим документом и ваши фамилии тоже записаны. Если через двадцать лет, через тридцать кого-нибудь из вас опять возьмут в плен — висеть ему на виселице, поверьте мне на слово!

Мадьяры заорали:

— Правильно! Спасибо! Так ему и надо, собаке! —

■ И потом — с неслыханной искренностью: — Да здрав-

ствует господин товарищ майор! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Россия!

Это была отличная речь, одна из лучших моих речей за всю войну — по краткости и выразительности. Я до сих пор верю, что этих мадьяр больше воевать с Россией не заставишь — ни за какие коврижки!

И еще я сказал им:

— Сейчас вы можете идти. Разбейтесь на двойки. Пройдите по деревням. В городе ходите по самым людным улицам. На станциях смешивайтесь во все очереди — на посадку, на перрон, в кассы. Говорите всем: немцы заставили нас воевать против России, а Россия отпустила нас домой и дала нам этот хлеб на дорогу.

Мои мадьяры поспешно, словно боялись, чтобы их не вернули, кинулись к театрально распахнутым воротам.

И на них молча смотрели *не вошедшие в число*.

СЕМЬЯ БЕТЛЕН²⁶

В начале декабря 1944 года в штаб 61-й гвардейской дивизии явился капитан, документально доказавший, что он является адъютантом графа Бетлена. Бетлен просил вывезти его с семьей из имения, где они скрывались от немцев и переправить их через фронт.

Немецкое отступление уже заканчивалось, но фронт еще не стабилизировался. Майор Розенцвейг с десятком конников вывез Бетлена, адъютанта и тяжеленький чемодан, успел даже позавтракать в его имении. Семья выехала позднее и также спокойно достигла нашей зоны.

Неделю спустя я написал биографию Бетлена.

Друг, советник, соперник Хорти, он до сих пор остается одним из виднейших политиков Централь-

ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

ной Европы. Трансильванец, как и Манну, он лишен демагогичности последнего, более бесспорен. У него те самые джентльменские манеры, о которых говорил английский журналист. Потомок двух правителей Семиградья, он потерял состояние после аграрной реформы в Румынии. На допросе нервно спрашивал о судьбах своей провинции. За десять лет премьерства он не потерял популярности, прослыл либералом, патриотом, позднее антифашистом. Крупный деятель, завсегдатай Лиги Наций, он ехал к нам на премьерское кресло. Знал, что с коммунистами не поработаешь в белых перчатках. Предлагал свои услуги для черной и черновой работы, взялся бы и за грязную работу. На допросе рассказал о тайном совещании у Хорти, где все бывшие премьеры Венгрии, целые эпохи ее бытия, решали (каждая эпоха по-своему), выходить ли из войны и решили: выходить.

От плохо проведенного допроса все же пахнет всемирной историей.

Бетлен был увезен в Печ, жил там под неусыпным надзором Военного Совета, ублажался всячески, охранялся основательно. В правительство его не ввели: во-первых, был слишком правым, притом с выраженной ориентацией на палату лордов, во-вторых, был слишком крупным — его присутствие в правительстве Миклоша не только подчинило бы ему прочих министров, но и санкционировало бытие этого правительства перед Европой. Тогда это было нежелательно.

Неведение Бетлена в правительство повлекло за собой неиспользование его имени в нашей пропаганде.

В январе 1945 года Бетлен попросил сообщить ему, как живет его семья. Незадолго до этого наш переводчик Зайцев вывез его семью в Капошвар и поселил ее в губернаторском доме, за что был вознагражден золотой зажигалкой из ручек самой графини. Мне

дали легковую, пятнадцать минут сроку и поручили выяснить, не удрала ли куда-нибудь графиня с домо-чадцами. Я выговорил право объяснить свой визит беспокойством командования о нуждах и т. п. Семья Бетлена состояла из графини Сечени, его многолетней, известной всей Венгрии, фаворитки, ее дочери — графини Болза, мужа дочери — графа Болза и двух детишек.

В дороге я поспешно решал, целовать или не целовать графинины ручки — с этой категорией человечества я сталкивался впервые. Графиня приняла меня, и все сомнения рассеялись. Она оказалась ссохшейся щеколдой, без следов былой красоты. Ее ручка не вызывала больше никаких желаний. Я наскоро (пятнадцать минут кончались) выразил благочестивую тревогу командования. Графиня попросила пятнадцать килограммов сахара и пятьдесят килограммов масла. «Фюнфциг одер Фюнфцен, мадам?» — спросил я и несколько окосел: в те времена масло нельзя было достать ни за какие деньги, а в килограмм сахара женщины, не в пример графине, добальзаковского возраста, оценивали ночь любви.

— Пятьдесят, пятьдесят, господин майор! У меня двое маленьких детей. — И она сделала соответствующий жест.

Я откланялся. Начальство посердилось в связи с аппетитами старухи, но смирилось: в Капошваре на нас работал сахарный завод с 600 рабочими.

ЗАМОК ВЕКСЕЛЬХАЙМБ

В январе 1945 года, проездом, я прожил день в замке графа Вексельхаймб.

Сто лет назад один из офицеров карательной армии Виндишгреца получил в награду за усердие земли в рай-

оне местечка Таб. Он построил дворец со стенами, выдерживающими огонь корпусной артиллерии. Внутри замок напоминал музей гравюры и акварели — триста лет подряд плотные листы с батальными и жанровыми сценами обрамлялись, развешивались симметрично, медленно коробились и желтели. В простенках между окнами стоят кресла. Они основательно ободраны, хотя кожа на них слишком тонка для обуви. Над каждым креслом — веер из слоновой кости и японского шелка. Тонкий налет пыли окончательно тусклит вялые краски шелка. Веера повертели в руках и повесили — как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена Кишиневской операции и в более древние брали часы, кольца, компасы, пару-другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезки (блеснула надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок.

Я перещупал библиотеку графов. Ее запыленная часть странным образом напомнила библиотеку Пушкина — те же огромные, неудобные тома энциклопедии. Недаром перечень подписчиков этой последней совпадал с оглавлением «Готского альманаха»²⁷.

Вексельхаймбы бежали еще в ноябре, сдав акварели по описи переехавшей сюда больнице.

Больница интересна в двух отношениях. Директор показал мне женские палаты — здесь скрывались от прохожих солдат одиннадцать молодых женщин. Они поуспокоились за последние два месяца и с любопытством рассматривают нового человека.

Вторая достопримечательность — русская комната. Здесь два раненых, забытых частями, два больных — совсем юные сержанты. Они пьют спирт с врачами, спят с сестрами и защищают спасающихся буржуазок от за-

хожих буюнов, жестоко избивая их подкованными прикладами автоматов. Директор приемлет этот модус вивенди. Он, как и многие европейцы, сводит свою россику к мнению, что русский человек хорош, пока трезв.

На прощанье он доверительно сообщает мне, что у него лечатся от триппера (совсем бесплатно!) несколько окрестных офицеров.

АССИМИЛЯЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Удивительна ассимиляционная потенция мадьяр. С чем связана она — с высоким стандартом жизни или с экспансионным характером молодой цивилизации? Мадьярские евреи считали себя мадьярами Моисеева закона, мадьярский язык — родным языком, усердно крестились. Мадьярские славяне утрачивали свою национальность в три-четыре поколения. От сербских массивов Центральной Венгрии сохранился только православный епископ в Будапеште и лингвистическая археология типа «Печ», «Балатон» (Блатноозеро).

Сыновья швабов прибавляли к своей немецкой фамилии мадьярскую. Внуки вовсе отбрасывали немецкую часть фамилии. Имели успех такие вещи, как объявление буневцев «нацией, говорящей по-хорватски, но ощущающей себя мадьярами».

Народ, про который острили: «У вас королевство без короля, у вас адмирал без флота, ваш национальный поэт Петефи²⁸ — серб по крови». Этот народ всасывал и переваривал деревни, области, целые племена. И все это — прямым насилием, запрещением школ, богослужений на родном языке, иногда резней.

ПАМЯТНИКИ

В каждом городе Венгрии,— памятник Кошуту²⁹, площадь Хорти, улицы Андраши, Петефи.

Национальная история бедна — два десятка имен, но ее усердно и успешно пропагандируют камнем и бронзой.

Больше всего мне запомнился памятник в Байе: земной шар из серого булыжника, на нем юноша в крестьянской одежде — говорят, что двести лет тому назад он пешком обошел кругом света.

АВСТРИЯ

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 3-я ИМПЕРИЯ

Когда весной 1945 года мы ворвались в Австрию, когда капитулировали первые деревни и потащили в амбары первых фольксштурмистов¹, наш солдат окончательно понял, что война вступила в период воздаяния. Армия учуяла немца. Мы слишком плохо знали немецкий язык, чтобы различать, где прусский говор, а где штирийский². Мы недостаточно ориентировались во всеобщей истории, чтобы оценить автономность Австрии внутри великогерманской системы.

Но эстетика Отечественной войны отнесла к разряду «уродливое» голенастых и белобрысых девок, зобастых мужчин и черепичные крыши над фермами. Но политика Отечественной войны работой тысяч своих политработников приучила ненавидеть немца во всех его вариантах. Но лингвистика Отечественной войны установила: 3-й империал начинается именно здесь, за поваленными наземь пограничными столбами с черно-желтыми надписями. До сих пор мы наблюдали случаи единичной, приватной капитуляции. В Венгрии дома выкидывали белые флаги и полицейские чиновники надевали повязки «Красного Креста».

Здесь мы столкнулись с повальной капитуляцией. Целые деревни оглавлились белыми тряпками. Пожилые женщины поднимали кверху руки при встрече с человеком в красноармейской форме.

Солдаты внимательно слушали увещевания на тему о различии между Германией и Австрией и не верили им ни на йоту. Война приняла выпуклые, личные формы. Немец был немцем. Ему надо было «дать». И вот начали «давать» немцу.

В каждом селе навстречу нашим танкам выходили русские, украинцы, поляки — десять-двенадцать-пятнадцать человек. Девушки искали земляков, и многие из них еще долго ездили в повозках комбатов и командиров рот.

В Штирии торжествовала справедливость, и каждый солдат ощущал себя ее вершителем и стражем. Древний принцип «око за око» исключил кровомщение. За редкими исключениями, австрийские крестьяне обращались со своими рабочими человечно.

Поэтому работник по-хорошему прощался с хозяином, запрягал пару хозяйских коней в хозяйскую бричку, грузил туда пару хозяйских чемоданов и такое количество продовольствия, что не спеша можно было доехать не только до Полтавской, но и до Тобольской губернии. Не спеша двигался в путь.

Убийства были очень редки, и когда какой-то кулак спятил с ума и оказал сопротивление, все село помогало работнику-украинцу изловить его и добить.

В Граце ленинградская девушка, студентка, избилла хозяйку ресторана, на которую она работала.

Зато по всем дорогам двигались караваны бричек, тачек, телег, возвращающихся на родину. Шли землячества. Случайные полицаи, по которым уже томилась отечественная веревка, шагали вперемешку с пленными и вывезенными. В Фельдбахе, в двухстах километрах от Вены, итальянская семья спрашивала меня, можно ли пробраться в Италию через Марбург и Триест.

Борис Слуцкий

В то время и Марбург, и Триест были заняты немцами, но они упрямо протаскивались к фронту, толкая перед собою тачку с нехитрым барахлом. Уста-

новился неписанный закон: возвращающихся кормят австрийцы, — и все придорожные деревни были объединены до последнего петуха.

В Вене было две тысячи одних бельгийцев, триста тысяч советских граждан, более миллиона иных ауслендеров³.

Вавилон встал на колеса и двинулся из голодающей столицы к хлебным венгерским местам — на распределительные пункты и железнодорожные станции.

В то время в армии уже выделилась группка профессиональных кадровых насильников и мародеров. Это были люди с относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, тыловики.

В Румынии они еще не успели развернуться как следует. В Болгарии их связывала настороженность народа, болезненность, с которой заступались за женщин. В Югославии вся армия дружно осуждала насильников. В Венгрии дисциплина дрогнула, но только здесь, в 3-й империи, они по-настоящему дорвались до белобрысых баб, до их кожаных чемоданов, до их старых бочек с вином и сидром.

Целый ряд важных факторов благоприятствовал насилию. Большие на карте, австрийские деревни на местности оказывались собраниями разбросанных по холмам домов, отделенных друг от друга лесом и оврагами. Из дома в дом зачастую нельзя было услышать женский крик. В большую часть хуторов нельзя было поставить ни гарнизона, ни комендатуры. Следовательно, законодательная и исполнительная власть была здесь сосредоточена в руках первого проезжего старшины.

С другой стороны, австрийки не оказались чрезмерно неподатливыми. Подавляющее большинство крестьянских девушек выходило замуж «испорченными». Солдаты-отпускники чувствовали себя, как у Христа за пазухой. В Вене наш гид, банковский чиновник, удивлялся настойчивости и нетерпеливости ■

русских. Он полагал, что галантности достаточно, чтобы добиться у венки всего, чего захочется.

В большинстве деревень почти не было мужчин. Тотальная мобилизация была дополнена арестом или бегством многих фольксштурмистов.

Но впереди всех факторов шествовал страх — всеобщий и беспросветный, заставлявший женщин поднимать руки кверху при встрече с солдатом, вынуждавший мужей стоять у дверей, когда насиловали их жен.

Я основательно ознакомился со всем этим в хуторке Зихауер, стоящем на проселочной дороге Кальх — Санкт-Анна, на границе Штирии и Бургенланда.

Вдвоем с Барбье⁴ мы возвращались из командировки на передовую — «для изучения настроений местного австрийского населения».

Полдня нас промурыжил бургомистр Санкт-Анны — хитрый старикашка. Он побывал в русском плену, и суждения его отличались хохлацкой медлительной раздумчивостью.

Сначала он побожился нам в своей беспартийности, а потом заметил: «Ведь вы же сами знаете, что все чиновники обязаны быть членами национал-социалистической партии».

Сейчас мы шли назад по запущенному проселку. Было очень жарко, и погребок у придорожной избушки обещал холодный яблочный сидр.

В доме нас поразило обилие женщин. На стульях, кроватях, подоконниках их сидело девять-десять — все в «опасном возрасте», точнее, в угрожаемом возрасте — от шестнадцати до сорока пяти лет. Некоторые из них тихо плакали. Другие тщетно пытались договориться с сержантом-связистом, ковбрывшим дырку в оконнице, чтобы проташить сквозь нее провод.

В Австрии знание языка не производило столь решительного действия, как в Венгрии. Все же, когда заговорил мой «солдат» с великолепным швабским

акцентом, когда товарищ майор тоже оказался понимающим по-немецки — сержанта забыли и все сгрудились вокруг нас.

Подали сидр, и женщины с крестьянской вежливостью дожидались, пока мы не выпили по две кружки. Плакать начали только тогда, когда мы поблагодарили и хотели прощаться.

Я собрал в комнате десяток солдат из окрестных домов. Они стояли бледные-бледные, прямо как на допросе. За два часа я допросил шесть девушек — необходимость переводить каждое слово замедляла работу. Остальных пришлось отправить.

Где-то в старых тетрадах у меня сохранились их имена, отдающие нескладной эстетикой сельских попов, всякие католические Параскевы и Олимпиады.

Здесь была девушка, которую изнасиловали шесть раз за последние три дня. Это была неуклюжая деревенщина — она совсем не умела прятаться. В ее тусклом взгляде я не нашел ни страдания, ни стыдливости. Все это прошло. Осталась одна усталость.

После нее допрашивалась восемнадцатилетняя вертушка. Ее настигли всего один раз. У нее есть такие места на огородах, где ее не нашла бы и родная сестра.

И она засмеялась испуганным коротким смехом. Одни отчитывались обстоятельно и толково — не как на исповеди, а как перед доктором. Другие плакали навзрыд, тосковали об окончательности, необратимости происшедшего.

Но больше всего мне запомнилась одна фраза. Ее сказала вертушка Анжелика. Это были слова: «Нас гоняют как зайцев!»

Да, именно, как зайцев — все обрадованно закивали головами. Они были слишком измучены, чтобы осмыслять происшедшее, но его эстетическая формула была уже найдена. И какая точная — нас гоняют, как зайцев.

Приходят в два часа ночи, в три, в четыре. Стучат в дверь: «Давай! Открой!»

Потом выбивают оконные стекла, влезают вовнутрь. Набрасываются на нас тут же в общей спальне. Хоть бы выгоняли стариков в другую комнату.

«Мы теперь совсем не спим дома. Выкопали себе ямки в стогах. Пока тепло, хорошо, а как же будет осенью?»

Уходя, я не давал никаких обещаний, но меня провожали всем хутором, до околицы.

Солдатам я сказал не по закону, а по человечеству: «Ну что, стыдно? Смотрите же».

И скептик Барбье говорил мне потом, что эти солдаты уже не позволят никому обижать девушек в Зихауере.

Через два дня я докладывал начальству о женщинах Зихауера. Генералы сидели внимательные и серьезные, слушали каждое слово.

Прошло время, когда мой сигнал о попытке изнасилования истолковывался как клевета на Красную Армию. Дело шло о политическом проигрыше Австрии.

Из Москвы поступали телеграммы — жестокие, опрделенные. Но и без них накали самые сокровенные элементы партийности, выработанного интернационализма, от которого не отделаешься, человечности.

По этому докладу были приняты серьезные меры.

ЧИСТКА

Борис Слуцкий

В начале июня мы уже выключились из государственной деятельности и ждали отъезда. Стояла хорошая погода. Местные гурманы ликовали. Открылись кафе, отлично отделанные — мрамором, орехом, ■ зеркалами. Временно в них подавали только продук-

ты неорганического происхождения — черный кофе без сахара, минеральную воду из окрестных гор.

В то время Грац был одним из многих европейских городов, сочетавших изобилие асфальтированных улиц с отсутствием автомобильного движения. Ежедневно я час-два фланировал на велосипеде по пустым улицам, слегка заглядывая под шляпки, раскланивался с знакомыми, изредка навещал друзей. Траектория моя была хорошо известна полицейским, и полицей-президент Розенвирт ручался, что найдет меня, когда садился в свой «Штеер».

Он двигался по принципу торпеды, сужая понемногу спирали. Около восьми часов вечера я взорвался. Положение было очень серьезным.

В десять должны были собраться новые полицейские — двести коммунистов, двести социал-демократов, сто «христиан» из народной партии⁵. В эту ночь им предстояло произвести единовременные аресты всего фашистского актива города — более полутора тысяч человек, согласно спискам. С десяти до одиннадцати должна была пройти раздача винтовок. С одиннадцати до двенадцати — пропагандная обработка златоустами трех партий. В полночь — выступление. Подведение итогов — с рассветом.

Отсрочить акцию было невозможно — о ней уже пронохали, и наутро предполагался массовый уход фашистов в горы под предлогом обычной воскресной экскурсии.

Однако было уже восемь часов. Комендант, выпустивший из виду данные им обещания, совсем поголевски, ускакал инспектировать низы.

Предстоял сущий позор — не было разрешения Военного Совета на аресты, не было увязки с гарнизоном, который мог по-своему прореагировать на появление в городе, только что сдавшем алебарды и мушкеты, пятисот вооруженных австрийцев.

И самое главное — не было оружия. Правда, у руководящих товарищей брючные карманы конспира-

тивно топырились браунингами, но это не решало вопроса.

Добывание оружия оказалось наиболее любопытным звеном операции. Упирающихся артснабженцев сняли с футбольного поля. Лучшие ораторы комендантуры электризовали их обещаниями ликера из комендантской столовой. Потом представителей революционной полиции повезли на склад. Еще неделю тому назад они слушали, как подполковник Винкерер говорил мне: «Наиболее показательно то, что я, военный министр Австрийской республики, не имею револьвера».

А сейчас эти делегаты обезоруженной демократии с наслаждением втягивали запахи ружейного масла — перед ними из штабелей дружно воняли двадцать тысяч немецких ружей. Здесь в бывшем манеже сдавала оружие капитулировавшая 2-я танковая армия немцев.

Мы сторговались на двухстах винтовках, полутора тысячах патронов. Я уехал звонить в гарнизон. Выдача оружия началась ровно в десять.

Когда я пришел в полицей-президиум, операция была уже в разгаре.

Двести коммунистов, плюс двести социал-демократов, плюс сто христиан, плюс пятьдесят кадровых полицейских были разбиты на сто десять групп по пять человек в каждой. Оружие доверялось только партийцам. Огромный план Граца был расчерчен. На сто десять клеточек. В президиуме никто и не подумал о возможности путаницы, точно так же, как там и не учитывали даже возможности опоздания на сбор новых полицейских.

Мы сидим за круглым столом под отличными копиями старых мастеров. Здесь весь штаб операции — обкомовцы, профсоюзные лидеры, сухонький умный Штейнер — канцлер епископата.

Борис
Слуцкий

■ Социал-демократы с торжеством показывают

мне «наши» списки фашистов. Они самые обширные. Потихоньку они ябедничают на «христиан», оказавшихся неуместно лаконичными. Штейнер презрительно поджимает тошенькие губы, частит «промытые морщинки» — сам князь-епископ конфиденциально благословил операцию. Это поважнее списков.

Учитывая католическое рвение епископа, я осведомляюсь, не слишком ли много в списках евангелических попов.

Все нервно напряжены. Для жителей города, взятого без боя, это, быть может, самое сильное переживание в жизни.

Кто-то тянется к телефону. Его останавливают. Все линии выключены. Связь осуществляется только велосипедистами.

В три часа приезжает взволнованный Розенвирт. Все идет отлично. По шести участкам (из девятнадцати) уже более трехсот арестованных — блокляйтеры, крайзляйтеры, чины гестапо, уродливые старухи из «Зимней помощи»⁶, отставной генерал немецкой армии.

Бесшумные полицейские накрывают стол. На ска-терти пятьсот граммов хлеба — недельный паек взрослого горожанина, сыр, старое, кинжального действия, шампанское.

И мы сентиментально пьем за нашу общую платформу — за свободу, за справедливость, за успех операции.

В пять часов утра в президиум начинают прибегать жены: глупые — с жалобами, умные — с передачами. Все в порядке. Можно ложиться спать.

В городе, получившем официальное название «Град народного подъема», среди двадцати тысяч нацистской партийной организации, среди тысячи трехсот арестованных нашелся один человек, который оказал сопротивление при аресте. Этот малярный подмастерье, как и его герой⁷, девятнадцати лет, не призывался; католического вероисповедания. Дал два ■

выстрела по полицейскому. Бежал. Застрелился в подворотне под надписью: «Останавливаться воспрещается».

Можно ложиться спать. Меня укладывают в кабинет Хочева, вице-президента, коммуниста, моей креатуры. Сквозь сон я слышу его шепот: «Мне обещали для Вас автограф Гимmlера. Это большая редкость. Он (в голосе Хочева слышится профессиональное уважение) не расписывался, как Геббельс, для каждого встречного».

ЕВРЕИ

РАССКАЗ ЕВРЕЯ ГЕРШЕЛЬМАНА

Однажды утром ко мне подошел невысокий, сухой человек. Его серый госпитальный халатец скудно прикрывал солдатское звание. Он обратился ко мне с неслыханной просьбой: «Товарищ капитан, разрешите рассказать вам свою жизнь». Через пять минут мы уже сидели под дальним кустом и рядовой Гершельман, оглядываясь по сторонам, начал рассказ.

Я служил в Харькове, знал вашего папу. Двадцать два года был членом партии. Хорошо жил. Много лет заведовал типографией. Женился на русской. У меня дочка Катя тринадцати лет. Хорошо жил, повторил он задумчиво, совсем забыл, что я еврей. В июле 1941 года пошел в ополчение. Дослужился до политрука роты, был в боях. Потом вся наша армия попала в окружение. Я был тогда неподалеку от штаба армии. Здесь было хорошо видно, как это делается. Сначала мотоциклисты отсекали штаб от части. Они уже не стреляли, и наши командиры тоже не стреляли, только дрожали от напряжения. Потом установившиеся отношения — чиновничества, долга — начали расплзаться. Было заметно, как люди отходят от старых центров. Образовались новые центры, вокруг людей неизвестных, но теперь говоривших громче и громче. Хозчасть, столовая еще работали — по инерции. Потом приехал немецкий офицер, один, без охраны, и все узнали, что они уже не штаб, не политот-

дел, не воинская часть, а пленные, просто много плен-ных. Скоро всех отправят в лагерь.

Из всеобщей неизвестности начали проясняться судьбы евреев, контрразведчиков, комиссаров. Многие открыто, на глазах у всех, рвали партийные биле-ты. Другие так же открыто, до смешного открыто, за-капывали документы под приметные столбики, от-дельно растущие деревья, морщили лоб, запоминали.

Я все присматривался к группе начальства, моло-дым евреям, очень красивым, с двумя-тремя шпала-ми. Их уже заметно обходили, но смеяться боялись. Помимо инерции голода, поддерживавшей бытие сто-ловых, продолжала действовать и инерция страха.

Внезапно шесть человек отошли в сторону — ров-но на столько, чтобы иметь вокруг себя воздух. По-целовались друг с другом. Затем — вырывали из ко-бур наганы, били себя в виски холодными дулами, так что шумок удара сливался с ударом выстрела.

Другие подолгу гляделись в кружок с коронкой мушки и, когда последний пот покрывал уже лоб, били наверняка. Коллективное самоубийство взвинтило офицеров. Послышались еще выстрелы — единичные. В палатке начальника политотдела кто-то безутеш-но, не прячась, рыдал. А со всех сторон подходили уже немцы — зеленые и молчаливые. Нас окружали, сталкивали в одну кучу. Стреляться было все равно поздно, и у меня не было ничего, кроме винтовки, а что значит стреляться из винтовки — черная работа. Я подумал — выползу как-нибудь, но я думал вперед на два дня, много — на три, и боялся думать дальше. Я хорошо говорю по-украински, знаю все местности от Киева до Харькова, у меня много друзей в селах. Я думал: «Выползу», — и у меня отлегло от сердца.

Борис Слуцкий

Когда немцы сформировали колонны для отправ-ки на регистрационный пункт, я стал в одну из них. Молчал всю дорогу. Придумал себе имя — Григорий Михайлович Москаленко — меня зовут Григорий Мо-

исеевич, но на работе называли Григорием Михайловичем, — особенно русские. Больше всего боялся выдать себя по рассеянности. Три дня мы жили на колхозном дворе. Осмелели. Начали делиться друг с другом. Был такой ординарец — он все не отходил от своего полкового комиссара, больного старика.

На четвертый день приехали немцы — регистрировать и распределять по лагерям. Сначала отбирали евреев. Помню, как отчаянно кричал армянин — врач, когда его заталкивали в кучу, где молчаливо стояли наши. Затолкали.

Я не признался, сжался в уголочке, переждал.

Регистрировали три человека, украинец из петлюровцев¹, девушка с милым лицом и равнодушный немец. Столики стояли рядом. Хвост общий. Я понял: попаду к петлюровцу — пропал, он уже нашел двух наших. Попаду к немцу или девушке — спасен, мой козырь. Считаю хвост, делю на три, путаюсь, опять начинаю считать. Наконец, все ясно, осталось два человека, я попадаю к петлюровцу. Тогда незаметно распускаю обмотку, отхожу в сторону, долго-долго перематываю ее. Потом иду — прямо к девушке. Слышу откуда-то: имя, отчество? И потом свой голос: Григорий Михайлович Москаленко. Прошел?

Я назвался железнодорожником с Киевского вокзала — таких отпускали в первую очередь. Через два часа я уже шагал по дороге на Киев, показывая немецким патрулям свеженькие документы.

В Киеве я жил шесть лет. Имел много друзей среди русских, украинцев. Помогал им. Они помогали мне. Там оставалась жена и дочь. Сейчас в уме вставали все знакомые. Я мысленно спрашивал у каждого: «Пустишь? Дашь переодеться?» Идти к семье в центр города в красноармейской форме было невозможно.

Подумав, я решил направиться к рельсовому ос-

мотрщику Пасечнику, жившему на краю города. Я знал его уже много лет, встречался с ним раз шесть или восемь в месяц, и он всегда казался мне хорошим человеком, порядочным, иначе не скажешь. Это был совсем старый старичок, пыльный. О евреях такого склада говорят: паршивенький. Но Пасечник был не еврей, и я мог идти в его дом. Уже темнело, когда я постучал в окошко, — робко-робко, чтобы никого не рассердить. Старик выглянул и отшатнулся: «Грицко, ты? Уходи скорей — себя погубишь и меня погубишь. Вашего брата по всему городу ищут». Но я понимал, что старик не выгонит меня. Кроме того, идти было больше некуда. И я сказал: «Возьми у меня все, век тебе служить буду. Но мне нужно переодеться и идти в центр к семье. Я ничего не могу делать, пока не узнаю, что с семьей».

Наступали новые времена, рабские времена. Потом, когда я вспоминал Пасечника, я думал, что мои слова о вечной службе могли показаться не брехней, а обязательством.

Из-за стариковой спины выглядывала Пасечника — дебая баба, разевшаяся на картошке с подсолнечным маслом со своего огорода. Она совсем осовела от страха и только твердила: «Гоны жьда! Гоны жьда!» И все же я переночевал у старика и наутро получил у него старый костюм и штiblеты. Я вынул три тридцатки (из пяти бывших у меня), но старик отказался. Страх соскочил с него, и он хотел делать свое святое дело свято до конца.

Позже немцы запретили эти тридцатки с портретами Ленина и разрешали только мелкие купюры — с изображением рабочего и крестьянина. Такая у них была политика.

Пасечник рассказал мне, как собирали списки евреев через управдома и «актив» соседей; как шла истерическая торговля за выкрестов, за еврейских жен христианских мужей; как шли евреи по улице — не

стройной колонной, а нескончаемой очередью, хвостом — в лавку, где выдавали смерть.

Я попрощался и без надежды побрел к себе домой. Мы жили на третьем этаже. Во дворе мне никто не встретился. Взбежав по лестнице, я увидел, что дверь открыта, в комнатах все перевернуто, лак с гардероба содран большими полосами.

На шум вышла Кондратьевна — соседка, серьезная старуха. Она только покачала головой: «Ну, Григорий Моисеевич, ты счастливый человек. Твоя жена уехала с последним эшелонном в Ташкент — туда теперь все ваши едут». Так у меня появилась первая цель в жизни — выжить, дожидаться, повидать жену и Катю.

Еще она рассказала мне, что управдомом над тремя улицами назначен Корсунский. Это был *тот* еврей. В Киеве его считали за одессита. Высокий, представительный, в очках, похожий на профессора, он занимался подозрительными коммерческими операциями и редактировал домовую стенгазету, жил в ладу со всем местным начальством. Сейчас он додумался до невероятной вещи — назвал себя караимом², говорил с каким-то ученым немцем и получил охранную грамоту, к большой злобе своих соседей.

Я уже спускался с лестницы, направляясь к Корсунскому, как вдруг на меня бросилась женщина, знакомая, жившая в этом же дворе. «А, еврей,— закричала она,— за барахлом пришел, в гестапе твое барахло»,— и крикнула мальчишке во двор, чтоб бежал за немцами жида забирать. «Анна Романовна!» — сказал я ей тихо. До этого я никогда не называл ее Анна Романовна, и никто во дворе так ее не называл — все знали ее как проститутку, в сорок пять лет она спала с каждым за пятерку, и сын ее, матрос, приехавший в отпуск, отказался от нее и пошел ночевать к соседям, на другое утро уехал обратно на корабль.

Но я сказал: «Анна Романовна!» — и слеза пошла ■

откуда-то снизу в голову, и ноги подкосились, и я понял: еще немного, и я, член партии, член горсовета, заслуженный человек, упаду на колени и буду молить ее о жизни, еще немного пожить на белом свете.

Но по лестнице уже бежал дворник, и я вырвал у нее рукав, ударил по лицу и выпрыгнул из окна, со второго этажа, побежал по улице. А за мной гнались дворник, соседка и мальчишка и кричали: «Жид! Жид! Держи жид!» И еще два года с тех пор я все бегал по улицам и слышал за своей спиной: «Жид! Жид! Держи жид!» Но прохожие не помогали меня ловить. Мне казалось, что многие смотрели на меня с грустью.

Через два часа я сидел на квартире у Корсунского, пил чай с молоком. Весь шик соскочил с этого человека, и он в самом деле походил на пожилого профессора. До войны мы не ладили друг с другом. Я всегда считал, что еврей должен работать, а не торговать — и так все кричат, что мы коммерческая нация. Но сейчас мы сидели друг против друга, как братья. Я понимал, что могу многое от него потребовать. Он знал, что я не запрошу лишнего, и надо дать все, что я запрошу.

— Положение таково, — сказал Корсунский. — Немцы раздали жителям пятьдесят тысяч комплектов имущества бежавших и расстрелянных евреев, пятьдесят тысяч комплектов мебели, белья, плюс столовая посуда, плюс кухонная посуда. На место вашего актива они посадили свой актив — комитеты по розподилу жидивского майна³. Кстати, там много ваших активистов. Еще месяца два, пока не возьмут Харьков, — Корсунский был уверен, что Харьков возьмут, — по шоссе будут ходить патрули. Эти два месяца сиди здесь. Свяжись с комитетом по розподилу. Документы у тебя есть. Тебе дадут квартиру, может быть, две. Их так много, что успели собрать только вершки — часы, отрезы, кожаные пальто. За два

месяца ты наторгуешь на базаре достаточно, чтобы перейти фронт. Потом он вытолкнул меня из дверей, сунул на прощанье пачку бумажек. Там оказалось две тысячи рублей — тридцатками.

Комитет по розподилу состоял из шести старичков — аккуратных, вежливых — корректора, бухгалтера, мастера из портновских артелей. За тысячу двести рублей мне дали две квартиры — Шапиро и Бронштейна. Всего пять комнат. К счастью, я не знал ни того, ни другого. Я должен был составить опись имущества, главным образом, малоподвижного, — тряпки никто не учитывал. Трижды комитетчики собирались на одной из моих квартир. Ели мед, пили чай с блюдечка, чистенькие, в очках и сюртуках. Потом утверждали составленные мною списки, назначали несуразно низкие цены на ковры, на пианино, на книги — двадцать пять процентов разницы шло им, остальное брал я — за работу. Понемногу обе квартиры перекочевали на рынок. Сначала меня бросали в дрожь белые надверные наклейки: «Бронштейн — жидивске майно» и «Шапиро — жидивске майно». Потом привык. Через месяц у меня были подготовлены два костюма, итальянский заплечный мешок, шесть тысяч рублей советскими деньгами, кое-какие ценности в золоте. С этим я предполагал идти в Харьков, где жила теща — русская и ее сыновья. Мой уход был ускорен визитом одного из комитетских старичков. Он пришел пьяненький, посмотрел на меня, присел — в то время я уже разъелся и начинал терять угодливость. Он сказал: «Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, а не из евреев ли вы будете, Григорий Михайлович?» Я засмеялся и сказал, что в Полтаве у меня мать и две сестры — их весь город знает, и что я сам пострадал от евреев, и дал ему шестьсот рублей деньгами и часы.

Через полчаса я уже шагал по малолюдным улицам. По дороге зашел к Корсунскому, постучался и

вдруг отшатнулся, заметив белую надверную наклейку: «Корсунский — жидивске майно».

В начале января я пришел в Харьков.

В то время Харьков был наполовину пустым городом. Продолжительность его обороны дала возможность выехать всем, кто этого хотел. Еврейские трупы уже гнили в Лосевских карьерах. Уцелевшие жители расползались по всей Украине с тачками, ручными тележками — в городе был голод. Только на следующий год горожане додумались сеять спасительную кукурузу. В первую же военную зиму тысячи и тысячи угасли в нетопленных квартирах. Мужчины пухли, надолго теряли половую потенцию. Женщины шли на улицу, где шныряли немецкие офицеры, приехавшие с близких позиций, и по всему фронту от Орла до Ростова гуляла слава о Кузнецкой улице — улице солдатских борделей и иных гостеприимных домов.

Еще долго, много недель после второго освобождения Харькова, девушки прятали парижские прически под скромные платочки, разучивались говорить по-немецки, вспоминали, как ночами плакали на сборных пунктах отправки в Германию, как внезапно налетали их друзья эсэсовцы, снимали армейскую охрану, в темноте водили фонариками по заплаканным личикам, увозили своих подруг в казармы.

Была провозглашена свободная торговля. Возникли торговые артели. Вербовались осведомители, и их глухо ненавидело коренное население. Чиновники городской управы выпросили у коменданта десять грузовых машин, послали их с еврейским барахлом на Полтавщину менять на продукты. Старшим колонны был назначен некто Ященко, маленький человек, касир. Через два месяца он вернулся миллионером, скупал дома, развернул большую валютную торговлю. Таких миллионеров в Харькове считалось пять-шесть человек.

Пусто было в Харькове. Я заходил в дома. Звонил. Обрывал ручки — так, что три этажа гудели, как от колокола. Из какого-нибудь чердака выползала старушка, шептала: «Все уехали...» или : «Все посажены...» или: «Всех в враг стащили».

Ночевать я пошел на Клочковскую, где жила теща Мария Павловна с взрослым сыном Павликом. Она слабо всплеснула руками и смотрела так жалко и голодно, что я подумал: «Ведь есть люди, которые еще несчастнее, чем я». Вошел юноша — сын, Павлик,— до войны он часто брал у меня денег — на пиво. Но сейчас я встал и вытянулся перед ним.

«Уходи, жид,— сказал Павлик.— Даю тебе тридцать минут срока. После этого иду в полицию». Он заметил время на часах, и я понял, что он все решил, давно и бесповоротно, что не надо говорить ни о Боге, ни о родстве, а надо уходить в метель и ночь. И я поклонился Марии Павловне — низко, в ноги, и вежливо сказал юноше: «До свиданья»,— и ушел, не дожидаясь, пока пройдут эти тридцать минут.

Всю ночь я ходил по Холодной горе, где не было патрулей. Я думал о том, что у меня нет зла на Марию Павловну. И я понял, что у меня есть еще одна цель в жизни — самая важная. Когда-нибудь, когда вернется Красная Армия, пройти по Харькову, Киеву, всей Украине — везде, где меня гнали и еще будут гнать. Постучать в каждое знакомое окно. Наградить всех, кто помог мне, хлебом, молчанием, добрым словом. Наказать всех, кто предал меня, отказал мне — в хлебе, молчании, добром слове.

Наутро, измучившись и намерзшись, я зашел в чайную. Здесь разговорился с группой молодых женщин — солдаток, собиравшихся на Полтавщину — на менки. Часа в четыре, поспав немного, я уже шагал с шестью бабами по Змиевскому шоссе.

На выходе из города у меня произошла встреча, которой я никогда не забуду. Это был Савелий Анд-

реевич Н.— директор большой типографии, у которого я работал много лет.

Бабочки отошли в сторону, а Савелий Андреевич наскоро, оглядываясь по сторонам, поведал мне мысли, самые важные из тех, что он выносил за последние три месяца.

— Я понял, что немцы пришли сюда не на годы. Навсегда. Сопротивляться им бесполезно и неправильно. С ними надо жить. Конечно, вам, как еврей, это трудно. А я решил окончательно — иду работать в управу.

Я смотрел на этого упитанного, хорошо одетого человека и думал: «Мы долго работали вместе, и ты был главнее меня, и мне казалось, что это потому, что ты украинец, а я еврей. И при встрече я кланялся тебе, а ты слегка кивал головой. И сейчас я ничтожный из ничтожных, щепка в море, паршивый еврей, но я больше тебя и честнее, Савелий Андреевич». И я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Не исключено, что дела у советской власти обернутся не так, как вы это предполагаете!» И мы разошлись в разные стороны.

Три месяца я ходил по Полтавщине, менял, изредка поторговывал, ожидал весны, чтобы перейти фронт через «зеленую границу». Обтерпелся, стал хитрее, осторожнее. Однажды в феврале спьяну залез на одну из солдаток, и так мы прожили с ней до апреля. В апреле ночью женщина со смехом сказала мне: «А ты еврей — хоть и не прячься — я все подсмотрела». Мы посмеялись вместе, а часа через два, дождавшись, пока она заснула, я собрал остатки вещичек и ушел, куда глаза глядят. Не верил я никому, не такое было время, чтобы верить. Тогда уже подсохло, ночевать можно было в лесу. Я выбрал себе товарища — молодого харьковского рабочего и пошел к фронту.

Две недели мы слонялись вдоль Донца, отчаялись и разошлись. По дороге нам встретилась группа переходчиков — три молодых еврея, типичных, изнежен-

ных, с ободранными до крови ногами. Таких обычно ловили за двадцать километров от линии фронта. В лучшем случае они подрывались на минах.

В июне фронт ушел далеко на Восток, и я осел в «приймаках» в Красноградском районе, где у меня еще с зимы завязались торговые связи. Таких приймаков было множество по всей Украине — от Чернигова до Балты. Великороссы, окруженцы, удачники, удравшие из лагерей, иногда — большие офицеры, очень редко евреи — они вошли в быт украинского села сплоченной группой. Украинская полиция боялась с ними связываться. Многие из них переженились с солдатками и девками, в церкви либо «просто так». У «приймаков» не принято было расспрашивать, как и что. Не спрашивали и у меня. Моя «жинка» была смешливая вдовушка, лет двадцати восьми, с двумя детьми, сестра сельского кузнеца, известного силача и коммерсанта. Прожил я с ней всего четыре месяца.

Однажды я впервые посетил Красноград — купал соль. Проходил мимо управы, заметил маленького белобородого старичка. Лапсердачок и специфическое устройство профиля свидетельствовали, что он еврей, и притом — еврей, не скрывающий своего происхождения. Я бросился к нему, оставив всякую осторожность. Мы зашли в каморку в управском подвале. Здесь я услышал историю красноградских евреев.

Когда пришли немцы, они вышли навстречу — встречать культурных людей. Раввин был впереди с хлебом и солью. Это удивило и заинтересовало немцев. Комендант собрал всю общину — сто двадцать человек и сказал, что Гитлер не забудет встречи, оказанной немецким войскам евреями Краснограда. У нас отобрали имущество, переселили в гетто. Но мы живы. И все-таки было бы лучше, если б мы не ходили с хлебом-солью. ■

На подходе к одной деревне мне сказали, что приезжала вдовушка, с которой я жил зимою. У меня екнуло сердце. Вскоре прибежал мальчик — кузнец звал меня в гости.

Он сидел один — под образами, на столе стояла бутылка с самогоном.

— Так що, Григорий Михайлович, мне стало известно, что ты еврей. Доносить на тебя мы не пойдем — не таковские люди. Ты нас не обижал — мы тебя не тронем. Оставаться тебе здесь нельзя. Узнают — не помилуют ни тебя, ни сестру. То, что ты спал с женщиной четыре месяца — так ты вещички оставь, и часов три пары — тоже оставь. Пинжак можешь взять от холоду.

Мы выпили по стакану и разошлись по-хорошему. Стояла поздняя осень, и в «пинжаке», не зная, куда пойти, я чувствовал себя несчастным и сиротливым. Помыкавшись по дворам, устроился на сахарный завод, километрах в пятидесяти от Краснограда.

Жить пришлось в общежитии, мыться — в общей бане. Много суббот я изворачивался, подгонял свое дежурство под «мыльный день», топил баню и мылся последним. Однажды поздно вечером, когда я уже собирался одеваться, в баню вбежал Петро — мой сосед по комнате. Он сунулся ко мне с фонариком и с торжеством закричал: «Жид! Так и знал, что жид!» — и выбежал из комнаты.

Петро кончил десятилетку, читал власовские книжки⁴, писал украинские стихи. На заводе его боялись, считали сексотом⁵. Я понял, что мне несдобровать. Приходилось снова бросать все и уходить, куда глаза глядят. Но полтора года мытарства не прошли даром. Во всем теле была теплая, вязкая усталость. Я решил: будь что будет. Утром меня разбудили полицейские. Повели в районный центр — к начальнику полиции. Начальник спокойно выслушал мои клятвы и приказал: отвести в больницу для «научного наблюдения жидивства».

В больнице меня втолкнули в кабинет, где распояжалась молодая женщина — жена начальника полиции.

Когда я увидел ее глаза, услышал вежливое предложение раздеться, когда предсмертный холодок задул мне в уши, заполз за пазуху, я понял: «Сейчас или никогда». Упал на колени, пополз, по-библейски обнимая ее ноги, зарыдал беззвучно, сказал: «Не надо осматривать. Да, я еврей. Спасите меня!»

Эта женщина окончила институт перед самой войной. Приехала к родным и была взята замуж первым человеком в местечке — начальником полиции. И сейчас с девичьим смущением она успокаивала меня, подымала с колен. Потом вздохнула глубоко, наполнила стандартную справку и сказала: «Теперь бегите — завтра же, сегодня же — иначе мы оба погибнем!» В ту же ночь я бежал с завода.

И вот сейчас мы сидим с вами, товарищ капитан, но я хочу добраться до этой больницы, прийти в НКВД, в совет, сказать: «Эта женщина не только жена начальника полиции, она человек, она спасла мне жизнь!»

Остальное не так интересно.

Я снова пошел в приемы. В третий раз. Жил сначала за батрака, потом за мужа.

В августе услышал приближающуюся канонаду и ушел на восток. Через два дня я встретил нашу разведку. И я бросился к ним и заплакал, они смеялись и говорили: «Здравствуй, дед!» А мне сорок пять лет, товарищ капитан, а тогда было сорок четыре. И я рассказал им, что я еврей, и про свои мучения. И они сказали мне: «Евреи тоже люди».

Сейчас я служу пекарем на дивизионном хлебозаводе, но хочу во что бы то ни стало уйти на передовую. Мстить. Выжить. Вернуться и пройти по деревням, постучать в окна, воздать всем — за благодетель и за злодеяния.

И знаете, что я вам скажу о народе, если подбить итог? Таких, что помогали мне, было в десять раз больше, чем таких, что продавали, товарищ капитан.

* * *

В Австрии я столкнулся с иной оценкой отношения русского человека к еврейскому.

В маленькой штирийской деревушке жила женщина — венская еврейка, два года прятавшаяся здесь от полиции. Ее не выдавали, даже подкармливали — сказывалась традиционная крестьянская порядочность и жалость к ее трехлетнему мальчику. Эти чувства перебарывали нелюбовь к евреям.

Это была бесцветная женщина, с вялой кожей и тускло-рыжими обеззолоченными волосами. Мне всегда казалось, что между жизнерадостными одесситами и рахитичными литваками⁶ не может быть расовой общности и что одни происходят от черномазых завоевателей Ханаана, а другие — от бедных филистимлян, захиревших в рабстве.

Она говорит однообразно и скучно. Наверное, ее немецкий язык смахивает на перевод с иностранного. Впрочем, я недостаточно знаю немецкий язык.

Однако послушаем, *что она говорит*: «Я часто слушала радио и хорошо знаю о Красной Армии. Я ждала вас. И я всю жизнь любила только одного мужчину. А сейчас мне приходится спать с каждым солдатом, который проходит через деревню. По его первому слову».

Она отходит в угол, и ее лицо окончательно обезображивается рыданиями.



Осенью 1944 года я был свидетелем двух трактовок еврейского вопроса.

Начальство принимало доклады руководителей политотделов. Один из начподивов, Пузанов, молодой и резвый человек, с глупинкой, доложил, что с целью укрепления дисциплины дивизионный трибунал осудил на смерть двух дезертиров. Когда он зачитал их анкетные данные, у меня упало сердце: один из двух был бесспорным галицийским евреем. Пузанов жаловался на армейский трибунал, отменивший приговор. Генерал посмотрел на него государственным и презрительным взглядом:

— Ваш приговор отменен нами, Военным Советом. Читали ли вы последнее письмо осужденного? Он воюет с начала войны, дважды ранен, и каждый день солдаты говорили ему: «Из всей вашей нации ты один здесь остался». Эх, вы, политики,— закончил генерал,— нашли одного еврея на передовой, да и того хотите перед строем расстрелять. Что скажет дивизия?

Характерно, что Пузанов, возражая ему, говорил о том, что у него много замечательных, прекрасно воюющих евреев.

Таким образом, довоенный рабфаковский интернационализм столкнулся с государственной умудренностью мародерного времени.

Я был единственным евреем, присутствовавшим при этой сцене.

Война принесла нам широкое распространение национализма в сквернейшем, наступательном, шовинистском варианте. Вызов духов прошлого оказался опасной процедурой. Выяснилось, что у Суворова есть оборотная сторона, и эта сторона называется Костюшко⁷. Странно электризовать татарскую рес-

публику воспоминаниями о Донском и Мамае⁸. Военное смешение языков привело, прежде всего, к тому, что народы «от молдаванина до финна» — перезнакомились. Не всегда они улучшали мнение друг о друге после этого знакомства.

Оглядевшись и прислушавшись, русский крестьянин установил бесспорный факт: он воюет больше всех, лучше всех, вернее всех.

Конечно, никто не учитывал отсутствия военно-исторических традиций у евреев, казахов, узбеков, большинства народностей Союза, новизну для них солдатского ремесла — факт основополагающего значения. Забыли также отсутствие машинных, индустриальных навыков у казаха, киргиза, мордовского либо чувашского мужика. Между тем, башкир, простреливший себе руку, обмотав ее наспех портянкой, сплошь и рядом испытывал ощущение степного полудикого человека, внезапно попавшего в ад — в ад сложных и шумных машин, непривычных для него масс людей, неожиданной для него быстроты в смене впечатлений. И он противопоставлял свои способы спасения мефистофельской опытности военюристов и военврачей.

Добавим непривычку большинства южан к климатическим стандартам этой войны.

Результатом этого неучета и забвения явилось определенное противоречие, возникшее между русскими и многими иными. Лейтенанты пренебрегали своими непонятливыми солдатами. Именно тогда бывших «мальчиков», «палочек», «спичек» стали чествовать «елдашами» и «славянами», причем под последними подразумевались турки и монголы. Уже к концу первого года войны военкоматы выволокли на передовую наиболее дремучие элементы союзных окраин — безграмотных, не понимающих по-русски, стопроцентно внеурбанистических кочевников. Роты, составленные из них, напомина-

ли войско Чингиза или Тимура⁹ — косоглазое, широкоскулое и многоязычное, а командиры рот — плантаторов и мучеников сразу, надсмотрщиков на строительстве вавилонской башни на другой день после смешения языков.

Офицеры отказывались принимать нацменов. Зимой 1942 года в 108-ю дивизию подбросили пополнение — кавказских горцев. Сначала все были восхищены тем, что они укрепляли на ветке гривенник, стреляли и попадали. Так в то время не стрелял никто. Снайперов повели в окопы. На другой день случайная мина убила одного из них. Десяток земляков собрался возле его трупa. Громко молились, причитали, потом понесли — все сразу. Начались дезертирства и переходы. Провинившиеся бросались на колени перед офицерами и жалко, отвратительно для русского человека, целовали руки. Лгали. Мы все измучились с ними. Нередко реагировали рукоприкладством. Помню абхазца с удивительной японской фамилией, совсем дикого, который ни в какую не хотел служить. Трудно было пугать прокуратурой людей, не имевших представления об элементарной законности. Абхазец по-детски плакал, выпрашивал супу на дальних кухнях. Командиры рот в наказание поучали его поочередно. Бить его, впрочем, считалось зазорным.

Наша низовая пропаганда часто ошибалась на этих дорогах. Восхваляли все русское и мало говорили о своих героях — нацменах — прорусских и антинемецких. Часто политработники подпевали шовинизму строевых офицеров и солдат.

Шовинизм распространялся не только на Восток и Юг, но и на Север и Запад. Нежелательным элементом считались поляки, эсты, латыши, хотя отчисление их из дивизий объяснялось формированием соответствующих национальных соединений. На южных фронтах недоверчиво относились к молдаванам, калмыкам.

Был интернационализм, потом стал интернационализм минус фрицы, сейчас окончательно рушилась светлая легенда о том, что «нет плохих наций, есть плохие люди и классы». Слишком уж много стало минусов.

Все это привело к объективному и субъективному разматыванию клубочка национализма.

Но к концу войны самые невоенные нации научились воевать. Уже летом 1943 года дало сносные результаты введение в бой Степного фронта, составленного в значительной степени из степняков Северного Туркестана. Выжившие с начала войны казахи и другие нацмены приучились не только ругаться, но и изъясняться по-русски, вообще говоря, акклиматизировались в окопах. Степняки привыкли к механизмам. Появились и были замечены «хорошо воевавшие» нацменьшинства. Совместное наступление сгладило, а позже стерло общий страх перед фрицем и повысило самоуважение, сначала общее, потом взаимное. Народы сжились — в расчетах, отделениях, экипажах танков и самолетов — и посмеивались друг над другом уважительнее, чем раньше. Наша пропаганда дошла до национальных фронтовых газет, массовой засылки на фронт литературы на национальных языках, наконец, до внештатных инструкторов по работе среди нацменьшинств. Заработали извечные качества русского человека — его антишовинизм. Это, в свою очередь, приблизило его к нацменам. Заграничный поход способствовал сплочению всех наций.

Как же шло вживание в армию евреев?

Осенью 1944 года было закончено обмундирование и первичное обучение еврейской бригады 8-й английской армии. Их выстроили на плацу. Из двенадцати колен воинов, вышедших в свое время из Египта, уцелело совсем немного — одна бригада.

Борис Слуцкий

■ И вот впервые за два тысячелетия прозвучала команда на древнееврейском языке: «Смирно!» Амери-

канский журналист Луи Голдинг рассказывает о слезах, выступивших на глазах солдат, — все круги Майданека прошли перед ними. Евреи еще не думали о желанной земле Ханаанской¹⁰ — туда они ворвались в марте 1945 года, а пока они оккупировали Любек. Они вспоминали сорок лет пустыни. Традиции боя, войны не было. Их предстояло создать.

Один из дикторов дивизионной агитационной громкоговорящей установки Юрка Каганович, юноша, студент Киевского литфака (наверно, писал неплохие стихи), отпросился на работу в разведроту. Это был вспыльчивый и замкнутый человек. На работе, на территории противника, он бросался с кулаками на неподчинявшихся разведчиков, слабыми кулачками бил их по лицу и по глазам.

В 1944 году, когда армия три недели находилась в блаженном неведении о противнике и разведчикам трижды в день обещали штрафные роты и разливанное море водки, он прокрался в окопы противника, окликнул на хорошем немецком языке заносимого метелью часового и, заткнув ему глотку, долго, вместе с тремя разведчиками из группы захвата, лупил, приводя в состояние, удобное для переноски через минные поля. За три месяца взял семь языков. Работа целой разведроты (при этом удачливой)! Был горд и надменен. За полгода получил четыре ордена — редкий случай и для командиров дивизий. Возмущался избиением пленных на допросах. Резко изменился, стал беспощадным к фрицам, расстреливал саморучно всех лишних пленных после того, как посмотрел остатки одного из «лагерей смерти». Во время Яско-Кишиневской операции, когда тысячные колонны фрицев без охраны искали «плен» и повозочные набирали с верхом пилотки ручных часов, Каганович с шестью другими разведчиками, удобно устроившись на холмике, начал поливать из автоматов незащитных усталых фрицев. Сначала те метнулись в сторо-

ну, потом повернули и затоптали ногами разведчиков. Позже труп Кагановича был найден. Огромный орден Богдана Хмельницкого¹¹ был выковеркан из его груди кинжалом или ножом вместе с гимнастеркой, бельем, живой плотью. Незадолго до смерти он говорил мне: «Товарищи удивляются, верят и не верят, что я еврей. Майор Коляда говорил мне: «Какой ты еврей, ты еврейский цыган». — И Каганович добавил злобно: — все это правильно, заслуженно».

Капитан Орман, борец, артиллерист, в прошлом ростовский инженер, иудаизм которого был подкрашен портовым способом воспитания, демонстративно торчал на всех наблюдательных пунктах, подавлял и обижал своих товарищей храбростью, часто излишней. Мне он говорил: «Я знаю, как они смотрят на евреев, так пусть посмотрят на такого, который храбрее их всех».

У тысячи фронтовых евреев было отчетливое ощущение незавершенности ратного труда их нации, недостаточности сделанного. Был стыд и злоба на тех, кто замечал это, и были попытки своим самопожертвованием заменить отсутствие на передовой боязливых компатриотов.

К концу войны евреи составляли уже заметную прослойку в артиллерийских, саперных, иных технических частях, а также в разведке и (в меньшей мере) среди танкистов. Пролетарский характер этих родов войск и товарищество, развившееся из совместной работы у механизмов, способствовали филосемитизму. Однако в пехоте евреев было мало. Причины: первая — их высокий образовательный ценз, вторая — с 1943 года в пехоту шли, главным образом, крестьяне из освобожденных от немцев областей, где евреи были полностью истреблены.

Раздутое немецкой пропагандой, имевшее определенный успех у темных пехотинцев ощущение недостатка евреев на передовой каждодневно вырождалось в пассивный антисемитизм.

Иначе дело обстояло в офицерском корпусе среди штабистов, политработников, артиллеристов и инженеров. Здесь евреи акклиматизировались, были замечены как отличные работники, повсюду внесли свою хватку, свой акцент. Здесь антисемитизм постепенно сходил на нет.

В шуме боя наш народ не расслышал объективных причин, устранявших евреев с передовой точно так же, как оттуда был устранен московский слесарь или ленинградский инженер.

Героизм одиночек остался неучтенным и был отнесен к распространившемуся в последние годы жанру *высокого анекдота*.

* * *

С марта 1943 года, когда лыжный батальон захлопал проношенными валенками по станционной купянской грязи¹², прошел год. Мы отвоевали Украину — страну, насчитывавшую до войны полуторамиллионное еврейское население. За этот год я ни разу не встречал гражданских евреев. Под Харьковом мне рассказали о том, как за Тракторным посекали из пулеметов 28 тысяч человек. Недостреленных долго еще ловили по яругам, водили к старостам, допрашивали, убивали.

В марте 1944 года мы снялись с зимней стоянки под Варваровкой, потыкались в глубокую, впрок вырытую, немецкую оборону и погнали немцев в непролазные калюжи Южной Украины. Через неделю обе армии бросили бессильные автомашины. Кирзовый сапог и заморские ботинки соревновались с коровьей кожей немецких сапог на прочность и скорость. Нем-

■ ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

цам удалось уйти, зацепиться за абрикосовые сады Приднестровской Бессарабии.

В марте в разбитой минами черепичной колонии я зашел напиться воды и по черным глазам подавшей кружку девушки, по неопрятной бедности узнал еврейскую хату. Настоящую встречу отнесу на три дня вперед, когда стали испытаннейшие тягачи, а колеса, сковырив весь чернозем, застряли в липкой подпочве. Ново-Николаевка. В школе неподалеку от нас живут евреи. Их сорок человек. Все они из Могилева¹³. Ребята со смелыми острыми глазами. Несколько мужчин. Истощенные женщины.

Среди несчастных был бухгалтер — все гордятся его профессией. Он одет в старый пиджак — сквозь дыря светится тощее и грязное тело. Я дал ему рубашку — сколько просьб и благодарностей посыпалось на меня!

В 1942 году румыны выслали своих евреев. Когда проходил набор рабочей силы, вывезенные из Румынии «миллионеры» подкупили чиновников, и в степные совхозы пошли женщины и дети коренных молдавцев.

Особенно запомнилась учительница — сношенное существо, выдвигаемое вперед при переговорах. Она идеологизировала их рабство, которое неправильно называли крепостным правом. Она же рассказала мне о румынском агрономе — начальнике совхоза. Он обещал евреям мученическую жизнь и выполнил обещание. У него было несколько наложниц. Последние дни перед приходом наших в совхоз пришли немецкие солдаты. Они грозили крестьянам: идут «Русс» и «Юд». Солдаты были усталы и голодны. Рассказали, что за ними идут эсэсовцы, которые добивают всех евреев.

Когда в Николаевку ворвались первые советские танки — женщины бросились к гусеницам, целовали липкую глинистую грязь. Танкисты накормили их и пожалели.

Пока евреи жили в школе. Ждали. Фронт отодвинется, и они уйдут в Могилев. Крестьяне разрешают собирать оставленный с осени в поле картофель. Сбор картошки дает два-три ведра. Картошку пекут на углях, делят по две-три картофелины на душу. Я иду в Райсовет, собираю местное начальство. Говорю: советским гражданам нельзя нищенствовать. На меня подымает грустные глаза председатель: «Мы же их жалеем больше всех. Мы сами видели, как их мучили». Количество картошки увеличивается. Шьют мешки, пекут кукурузный хлеб. Расспрашивают о маршруте. Собираются в путь.

Одессщина. Еврейские колхозы соседствуют с немецкими, сербскими, старообрядческими. Когда убивали евреев, колонисты-немцы приезжали к старым соседям, к хорошим знакомым. К тем, с которыми соревновались в довоенное время. В награду получали все имущество. Когда убивали евреев-одесситов — их было много, — на хутор выделяли по пятьсот-шестьсот человек. Захоронение за счет хуторян.

В Тирасполе осталось восемнадцать из четырехсот. В Одессе — две тысячи. В Тирасполе¹⁴ скрывалась николаевская уроженка с девятилетней дочерью Жанной. Жанна знала, что ее отец еврей и что об этом никому нельзя говорить. Это была тихая, красивая девочка.

Антисемитизм вырос в неоккупированной части Союза, где даже казахи научились ругаться «жид», а уральские рабочие, воспитанные Свердловым, были потрясены нашествием голодных беженцев с пачками тридцаток в портфелях.

В оккупированной Украине антисемитизм, видимо, уменьшился. Причина этого — жалость. Тысячи евреев укрывались в интеллигентских и рабочих семьях. Другая причина — отсутствие объектов. Сейчас это меньшинство из меньшинств. На правах сербов, на правах кавказских арабов.

Проще всего еврейский вопрос решался в Болгарии. Четыре года шестьдесят тысяч болгарских евреев жили под страхом смерти. Уже вывезли евреев из новых областей — Македонии, Фракии и Добруджи. Уже сожгли их в Белграде, Ницце, Загребе. Уже отправили в Польшу древнейшую салоницкую общину, а их все не трогали. Загнали в гетто, выслали в северные города, лишили политических и части имущественных прав. В Венгрии, где нравы были жестокими, шестиконечная звезда окрашивалась несмываемой желтой масляной краской. В Болгарии ввели обязательное ношение изящной костяной звездочки. Ее продавали за пятнадцать левов, при себестоимости в один лев. Ремесленники богатели. Евреи, получившие ордена в прошлой войне, носили не звезду, а костяной кружок 15-копеечного размера.

В Плевне, в доме раввина, я собрал глав местной общины, задал им обычный вопрос: ваши нужды. Чего вы просите у Красной Армии? С эспаньолами разговаривать трудно. Почти никто из них не знает по-немецки. Переводчиком был Исрозели, учитель, левый сионист¹⁵, эмигрировавший из России в 1923 году, «еще в эпоху засилья Троцкого».

Мне сообщили следующие версии сохранения болгарского еврейства: 1) заступничество софийского экзарха Стефана — либерала и англофила; 2) заступничество советского посла; 3) боязнь Сталина — думали, что он еврей; 4) боязнь Эйзенхауэра — он грозил стереть с лица земли Софию, если упадет хоть один еврейский волос. В последний момент заступилась за евреев любовница царя Бориса, парикмахерша царицы Иоанны — еврейка.

— А самая вероятная — не хватало вагонов, чтобы вывезти нас в Польшу. И вот мы остались живы. И вот нас не повезли на мыло... на мыло... на мыло...

Борис
Слуцкий

■ Мы сидим в комнате за скудными чашечками черного кофе без сахара. Плевенский раввин Гершон,

усомнившийся в Боге; его дочь — девушка с грустными глазами; Исроэли.

Я нахожу удивительное мужество противопоставить им советских евреев, ушедших в армию, борющихся.

— Неправда. Две с лишком тысячи молодых ушли в партизаны. Из них убито восемьсот. Это выше, чем соответствующий процент болгар. Все они настроены антиболгарски. Не верят в их лояльность. Оперировать фактами антисемитизма среди болгарских коммунистов. Все антисемиты, кроме нескольких идеалистов вроде Тодора Павлова¹⁶. Исроэли собирается уезжать в Палестину. Ему говорят о призрачности существования, чуть было не обрушенного танками Роммеля¹⁷. Это очень сильное стремление, особенно среди буржуазной молодежи. Под английское крыльшко.

Болгарские суды смягчали приговоры евреям, привлекаясь за партизанскую деятельность. Мотивировка: у евреев есть причины бороться против болгарского государства.

Руцукский коммунист Стойчев говорил мне об относительной пассивности еврейской части подполья. Еврейский элемент среди коммунистов был куда менее заметен, чем в Венгрии или Румынии.

В Руцуке, в брошенном доме немецкого консула, я встретился с часовым — болгарским партизаном. Веснушки и особое устройство профиля не оставляли никакого сомнения в его национальном происхождении.

- Как тебя зовут?
- Яшей.
- Откуда ты?
- С Планины (т. е. с гор — так рекомендовались партизаны).
- Эвреин?
- Да?

— Я тоже.

И Яша бросился мне на шею.

В Югославии и Венгрии, где вернулось десять-двадцать-тридцать процентов евреев, все закономерности еврейского вопроса в Европе открываются особенно наглядно — потому что они типичны.

Каждый вечер в двух-трех домах собираются уцелевшие евреи Байи. Целуют руки дамам, говорят тихо, будто в соседней комнате лежит больной. Считают. В июле в город вернулось более двухсот сорока человек (из 1400). Разрозненные обрывки семей — мужья без жен, матери без сыновей — тянулись друг к другу. Возникали странные романы пятидесятилетних людей, платонические, бессловные, сентиментальные.

С особой, почтительной тихостью относились к потерявшим все — таких было много.

Казалось, время смерти уже было пережито, но где-то рядом, в соседней комнате мягко ступала смерть задним числом, бросалась письмами, где осторожно уведомлялось о смерти Н., о пропаже без вести, о том, что Л., спасенный в концлагере, умер после трехкратного вливания бульона.

В Будапеште, в главном комитете по устройству депортированных, сидели пожилые евреи бухгалтерского типа, скрупулезно опрашивали возвращающихся о судьбах им известных, о биографиях, закончившихся рядом с ними. Суммировали. Делали выводы. В синих конвертах отсылали смерть во все концы Венгрии.

Я наблюдал мирное соседство коммунистов из политической полиции с реакционными буржуа. Последние гордились первыми, их уверенностью, их револьверами, редкими в разоруженной Венгрии.

Женщины этого круга потеряли национальную резкость красок. Большинство из них только потускнело от этого. Некоторые приобрели удивительное

осеннее очарование, незабываемую и грустную красоту. Молодые мужчины с толком говорили мне, что они не могут жить на родине, которая отталкивает и предаёт их, и по-чеховски рвались в Москву.

В июле 1945 года в Сомбор¹⁸ вернулось несколько более десяти процентов еврейского населения. Говорили, что соотношение между мужчинами и женщинами составляет один к семи. В лагерях, как правило, выживали женщины. В Белграде после освобождения насчитали тысячу евреев из проживавших там до войны двенадцати тысяч. В Байю из лагерей возвратились: восемь еврейских врачей из десяти, один еврейский адвокат из двенадцати. Думаю, что процент сохранившихся в провинциальной Венгрии евреев близок к двадцати пяти.

В Будапеште, где прятаться было легче, этот процент выше. Говорят, что там сохранилось сто тысяч из трехсот тысяч. Кроме того, к июлю 1945 года около сорока тысяч вернулось из лагерей.

В ноябре, вечером, я зашел в парикмахерскую. Очередь оживленно переругивалась, и я должен был напрягать все внимание, чтобы различить смысл чужого языка. Внезапно вошел партизанский офицер — поручик или подпоручик, молодой, очень бледный, в ладно пригнанной английской униформе.

— Узнаешь меня, дед?

Парикмахер всмотрелся в лицо юноши, не отводившего от него взгляда. Потом он закрыл бритву, бессильно облокотился об кресло и тихо произнес:

— Яша? — Наступила напряженная тишина, и я почувствовал запах трагедии, развязавшейся в короткие сроки. — Где отец, мать?

Парикмахер ответил почти беззвучно — всех увезли. Офицер хлопнул дверьми.

Когда наши взяли Бор¹⁹, оттуда на север потянулись сотни несчастных с намазанными желтой масляной

краской шестиконечными звездами на груди. Это были рудничные рабы — венгерские евреи, пробиравшиеся на родину. Они шли и падали.

В апреле 1945 года в районе Надьканиша был освобожден еврейский лагерь — пятьсот человек, истощенных так, как могут быть истощены люди, которых хотят заморить голодом и для которых не хватает даже предусмотренных этим планом пайков. Они шли по дороге, иногда падали и гасли в кюветах. Сердобольные шофера подымали их, увозили в тыл.

С чем же возвращались на родину эти несчастные?

Один из немногих мужчин-евреев, вернувшихся в Сомбор, сын богатого купца, передал коммунистической партии Югославии свое имущество. Говорили о том, что его сестра резко протестовала. Этот пример характеризует бытие двух струй в современном еврействе — струи строителей капитализма и струи его низвергателей.

Мой приятель Джорджи, пытливо прислушивавшийся ко всем разговорам о Советском Союзе, особенно о филосемитизме и об антисемитизме русских, суммируя свои впечатления, говорил: «Простые солдаты рассказывали мне, что у вас на передовой нет евреев, евреи — только старшие офицеры». Рассказ Джорджи напоминает отношение к еврейству со стороны радикальных элементов Балкан: принципиально интернационалистическое и наряду с этим холонок, обусловленный воспоминаниями о буржуазности еврейства, о столетней ориентации на мадьяр и немцев. Для евреев, товарищей по борьбе, делалось понятное и очень горячее исключение.

Много раз зарубежные евреи задавали нашим армейским евреям вопрос: «Как у вас с антисемитизмом?»

Подобно сапожнику, перехваливающему свою родину, чтобы Европе она казалась еще краше, чем ему, евреи армейские привирали, рассказывали о стране без антисемитизма и еврейского вопроса. Это дела-

лось, во-первых, из ощущения реального факта резко лучшего положения евреев в Советском Союзе по сравнению с положением евреев на оккупированных территориях; во-вторых, из стыда «за то, что антисемитизм возможен и у нас»; в-третьих, из человеческого желания прихвастнуть.

Однако настойчивое любопытство зарубежных евреев принесло свои результаты. Вскоре они знали детали, причем, в сгущенном виде. Рассказали им об этом, видимо, галицийские евреи, лишенные солидарности советских граждан.

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ

До войны, в Белграде, их было пятнадцать тысяч. Двенадцать тысяч бежали на север, унося с собой отчаявшуюся ностальгию. Три тысячи ожидали нашего прихода. Из них сто двадцать членов Союза Советских Патриотов сделали все, чтобы вернуться в Россию с парадного входа.

Во время боя за город была найдена старуха Дурново, внучка Суворова. Она писала нашим офицерам, умоляя отправить ее в Москву: «Готовить буду, стирать».

Нас дождались два внука Льва Толстого. Бежали Трубецкие, потомки Лермонтова и Тютчева.

Эпиграфом истории раскаявшейся части белогвардейщины возьму судьбу Петра Бернгардовича Струве¹.

Это был человек, проделавший навыворот политическую эволюцию Виктора Гюго, вместилище противоречий всей интеллигенции русской. В 1941 году он, немец, публично предсказывал поражение Германии; монархист, пророчествовал о победе советской власти. Был арестован. Полтора года сидел в концлагере вместе с коммунистами и евреями. Следователь наивно обвинил его, во-первых, в контакте с Лениным (1890-е годы); во-вторых, в переводе на русский язык трудов Маркса и Энгельса (тогда же); в-третьих, в организации первых марксистских круж-

ков в Петербурге. Ни одно из обвинений не было моложе сорока лет. Весной 1943 года его увезли в Вену — судить. Умный судья посмеялся над обвинительным заключением, но спросил (наверное, он сказал при этом: спрашиваю вас, как человек человека): «Ваше мнение о перспективах этой войны?» Струве ответил, что как историк и экономист он предвидит скорое и неминуемое поражение Германии. Его протомили еще шесть месяцев. Потом отпустили в Белград. Несколько недель он ходил по улицам, жестикулировал, нервно тряся (следы тюрьмы), настаивал на своих предсказаниях. Умер, завершив одну из самых путаных, оппортунистических, негероических жизней XX столетия римским концом². Стал гордой легендой коммуноидной белогвардейщины.

Белград, Югославия, Балканы приютили наиболее южную группу белых — врангелевских офицеров, киевских и одесских помещиков с семьями, автокефальных батюшек. Удивленные легковесностью Балканской Европы, они подолгу сохраняли русское имперское подданство, либо так называемые нансеновские паспорта³, — беженские аттестации, дававшие гражданские права и освобождавшие от политических. Такие же паспорта давали турецким армянам⁴. Возможно, они (как и русское подданство) окажутся еще роковыми для их обладателей.

Богатенькие и знатные вскоре уехали в Париж. Осталась армейская голь, положенный процент епископов, повышенный процент украинцев.

Женщины белогвардейцев были исполнены грустного обаяния. В полудеревенском Белграде, тогда еще скорее сербском, чем югославском, их узнавали по походке, по повороту головы, по запаху — тонкому, парижскому, незабываемому. В 1944 году, когда в Белград вошли сталинградцы, их женщин также узнавали по походке, по скрипу и грохоту кирзовых сапог. Сотни эмигранток вышли замуж за сербов, асси-

милировались, вырастили расу красивых и сильных ребят. Другие жались друг к другу, основывали «русские матицы» и сокольские клубы⁵, трудно привыкали к физическому труду, к чужому языку.

В Болгарии отношение к белогвардейцам варьировалось у разных правительств (разные степени равнодушия). Сотни гвардейских офицеров перекочевали из голодных трущоб Константинополя в шахты Перника, штрейкбрехерствовали, конкурировали с болгарскими рудокопами, потом пролетаризировались и смирились.

В Югославии Карагеоргиевичи⁶ крепко помнили 1914-й год. Офицеры принимались в армию. Охотно брали на службу чиновников, инженеров, учителей. Молодые ушли в университеты, образовали кадры отличных высококультурных специалистов. Киевская, Харьковская, Одесская профессура облагородила университеты Белграда и Софии. В Болгарии их считали варягами, терпели, пока не выросли свои кадры. В Белграде они крепко росли в академический быт.

Балканская Европа удивила нас необычными названиями улиц, проспектами Пуанкаре⁷ и Вильсона⁸, памятником Франше д'Эспере⁹ (в октябре партизаны намалевали на генеральском пьедестале четыре трафаретные красные звезды). Пока был среди этих проспектов не только генерал Черняев¹⁰, но и Николай II, белогвардейцы крепко ощущали свою автономию. Их русская православная церковь была автономна внутри сербской православной. Им дали гимназию в Белграде, кадетский корпус в Белой Церкви. Был дом для престарелых — немцы четыре года не кормили их. Наши не тронули, прошли мимо самых ненавидящих из своих врагов. Был огромный Русский дом в Белграде. Было сознание своего островного положения, зиждившееся сначала на культурном превосходстве, ■ потом на народной нелюбви. Из Парижа доходили

вести о партиях и течениях, о сменовеховцах¹¹ и национал-большевиках. Здесь все сосредотачивалось вокруг способов возвращения. Было два пути: с немцами и их предшественниками либо через консульства (ССП). Позже второй путь был окрашен кровью Союза Советских Патриотов. И вот в Белграде оказалось сто двадцать бургомистров, сто двадцать героев.

Когда началась война, белые резко противопоставили себя сербам, навсегда устранив возможность повторения в Югославии любой антисоветской эмиграции. Не случайно, именно здесь формировался Русский охранный корпус из ротмистров всей Европы, с полным окладом и офицерской уважительностью в обращении, корпус, из которого партизаны не брали пленных — расстреливали всех поголовно, как банатских эсэсовцев. Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах.

Генерал Краснов¹² писал об одном из своих героев, что он говорил настолько по-русски, что всегда можно было разобрать, где «е», а где «ять». Патриотизм старого поколения эмиграции носил именно ятевидный характер. Все эмигранты, оставшиеся в Белграде, от души умилялись Красной Армией. Но их чувства сосредотачивались на погонах, на орденах Суворова и Кутузова, на заветном слове «подполковник». В общем, это был немецкий вариант возвращения на родину — с заветным словом «статский советник».

Это была не нация и не класс — существовала бездна между пролетаризированными врангелевцами в Пернике и двором вдовствующей императрицы в Копенгагене. Это было сословие, объединяемое, главным образом, сословными предрассудками. Мятеж ССП наименовал внутрисословный бунт декабристов против Простаковых¹³.

ССП не хотел представлять эмиграцию. Он резко отмежевывался от нее, противопоставлял себя ей, вплоть до организации своей контрразведки, работавшей специально против белогвардейцев. Вплоть до того, что 6 ноября на предпраздничном собрании решили выставить «своих» автоматчиков у входа в Русский дом и не пропускать туда ни одного эмигранта.

В Разграде я разговаривал со стариком — врангелевцем, уважаемым во всей округе детским врачом. Удостоверившись в моей интеллигентности, он спросил: «Что вы будете с нами делать?»

Этот вопрос белогвардейцы задавали очень часто. В те дни им отчетливо вспоминались все их грехи перед российскими рабочими и крестьянами — от казни Стеньки Разина до Русского охранного корпуса. Тряслись ограничившиеся нансеновскими пасами*. Дрожали гордецы, сохранившие императорские документы. Счастливые обладатели болгарского подданства чувствовали себя очень беспокойно — слишком несuverенно капитулировала муравиевская¹⁴ Болгария, слишком грозно шумели танковые корпуса под их занавешенными окнами.

Рядом с доктором сидела его жена. Внимательно слушала, иногда потряхивала торжественными, царственно рыжими волосами. Внезапно, после сотни вопросов о Советской России, она спросила: «А правда ли, что у вас всем заправляют... евреи?» И смотрела мне в глаза злобно, чуть насмешливо.

Я вежливо ответил: «Ваши сведения, мадам, безусловно преувеличены».

Двадцать пять лет эмиграция дышала преувеличенными сведениями. В этих условиях противоположное течение казалось невозможным. Тем не менее оно возникло. Были старики со школьным представлени-

ем о патриотизме, исключавшим сговор с интервентами. Были молодые инженеры, твердо верившие в индустриализацию СССР. Были инородцы — евреи, кавказцы. Были девушки из старых семей. Были врангелевские офицеры, предпочитавшие петроградские академии всем иным. К партизанам ушли Махин¹⁵, знаменитый Саблин¹⁶, левый эсер времен московского восстания, начальник ВОСО Тито. Среди рядовых партизан был граф Ефимовский. В каждой бригаде был свой белый — обычно в штабе, а не в русской роте — культурнейший, проверенный офицер.

Ощущался политический раскол: «Отцы и дети». Впрочем, процент детей был не выше того, что у нигилистов.

В 1941 году в Белграде на правах секции одного из подпольных райкомов компартии организовался Союз Советских Патриотов. Его возглавил доктор Лебедев — милый человек, твердый руководитель. В Центральном Комитете Союза были профессор Алексеев Н. Н.¹⁷, юрист, автор «Истории русского бесправия», старик со счастливыми и молодыми глазами, еврей Тумим, литературный критик, шеф контрразведки.

Подробной картины деятельности ССП у меня нет. Кажется, они принимали участие в переводе и печатании шестисот экземпляров «Краткого курса истории ВКП(б)». Перепрятавали бежавших из лагерей красноармейцев, доставляли их в партизанские отряды. Кажется, собирали деньги, медикаменты, литературу, табак, печатали листовки. Вся работа шла под контролем сербов, по их заданиям.

ССП резко отделял себя от эмигрантской массы. Его члены считали себя советскими гражданами. Свою работу — заслуживанием паспортов. ССП противопоставлялся, до известной степени, и партизанам. На Русском доме написали: «Собственность СССР». На демонстрацию хотели выйти своей колонной под советскими государственными флагами. Впрочем, ■

когда стали собирать заявки на приглашение на вечер, в списках знакомых оказалась вся партийная и военная знать сербского Белграда.

Быть может, интереснейшей фигурой ССП был внучатый племянник фельдмаршала граф Илья Николаевич Кутузов¹⁸. Ему было сорок лет. Из России он выехал юношей, с гувернером. Учился в Сорбонне. Знал шесть языков. Доцент французской филологии, читал ее в Белграде. Написал несколько книг интересных стихов. В Белграде возглавлял кружок поэтов, который считался одним из двух центров молодой поэтической эмиграции. Второй — в Париже. Ладинский¹⁹, Довид Кнуг²⁰. Кутузов очень обаятелен старомодным, устоявшимся обаянием, чем напоминает Кульчицкого²¹. В 30-х писал рецензии с налетом наивной антисоветчины, бытовой для эмиграции. Он говорил мне: «Теперь я все понял. Раньше мы думали: «ЭНКАВЕДЕ!» А сейчас: «Пойду работать для НКВД». Современную русскую поэзию знал плохо, о Пастернаке и Сельвинском²² помнил, что у них талантливые рифмы, но веровал, что в Москве займет свое место.

За всю войну только с ним и пришлось по-московски побродить по улицам, почитать стихи. Нас встречали аккуратнейшие партизанские патрули. Окликали: «Едан напред, остальные стоят». Я отвечал: «Майор Црвеной армии»: Нас немедленно с почетом пропускали «напред». Осенью 1941 года, бежав из лагеря, Кутузов попал к Коста Надь²³, в главный штаб Воеводины. Три года работал в пропагандном отделе на второстепенных должностях. В 1944 году Надь получил орден Кутузова. Весь штаб был поражен, узнав, что содержит в себе родственника такого человека.

В октябре его назначили комиссаром белогвардейской колонии. Вечером он пришел в Русский дом с двумя автоматчиками. Старички из правления встретили его приветливо. В Белграде все знали графа Илью Николаевича. Граф, облеченный в английскую униформу, чувствовал себя скверно. Он

в первый раз производил аресты. Ордера не было. «Господа, — сказал Кутузов, — я вынужден вас арестовать». Старики покорились. Только один из них стал отходить в сторону, к двери: «Я Шевченко, я из украинской секции».

Кутузов вспомнил старые дразги между русской и украинской частями эмиграции, взаимные доносы и с торжеством арестовал Шевченко.

По графскому приглашению я побывал на первом легальном собрании ССП. Оно было посвящено участию в октябрьской демонстрации и организации праздничного вечера. Собирались понемногу. Кучка людей — пятьдесят-шестьдесят человек — терялась в коридорах Русского дома.

В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая II Александровича, его отца и прадеда. Помешкали над Александром II Освободителем и Александром I Благословенным. В конце концов уцелели Петр, Суворов, Ермолов²⁴. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год²⁵.

Группа художников во главе с Завгороднюком заканчивала портреты Ленина, Сталина и Тито. Завгороднюк — лауреат Салона, и его работы в жанре клеточной школы живописи — по 25 рублей за штуку — были возведением этой школы в степень идеала.

Постепенно сходились союзники — скромно одетые женщины, молодые и пожилые мужчины, в праздничных, «единственных» костюмах, подобных тем, какие надевали венгерские рабочие по случаю заседания обкома партии.

Эти люди не напомнили мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советской России. Сдержанность, ощущение старой культуры, заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего, это были декабристы, декабристы XX века. Преобладание дворянского, присутствие офицерского элемента усиливали впечатление.

Около восьми часов доктор Лебедев поднял руку, открывая собрание. Все встали без приглашения.

— Прежде всего я хочу представить вам нашего дорогого гостя Бориса Слуцкого, майора гвардии.— Я поклонился, отвечая на аплодисменты.— Хочу рассказать ему о нашей борьбе, о наших мучениках. На глазах у Лебедева выступили слезы. В зале неутешно зарыдали. В упор на меня смотрела Маша Дуракова²⁶, вдова врангелевского офицера, поэта, партизана-пулеметчика...

Однако начальство, разрешая мне присутствовать в любом месте, строго-настрого запретило официально представлять кого-либо. И я проглотил хорошие слова, которые очень хотелось сказать, и молча пожал руку Лебедева, сильную руку хирурга. Говорят, что у хирургов руки — вторые по мускулистости, после продольных пильщиков.

Начали обсуждать программу вечера. Трудности заключались только в отборе. Балерины императорских театров, певицы-профессионалы, высоколобые обеих столиц хотели провести вечер, как в рабочем клубе, причем эта эстетическая лояльность была вполне искренней. Были с возмущением отвергнуты все балетные номера — как барство. Руководитель хора с торжеством заявил, что он подготовил «Гимн Советского Союза». Если бы кто-нибудь предложил этому хору спеть «Славься!» из «Сусанина», это было бы принято с удивлением. Ускоренно проходя все двадцать пять лет нашей истории, они еще не дошли до «новых веяний». И в программу были включены не только старые песенки Дунаевского, но и авиамарш и даже пьески с словом «красный» в названии. Союзники приняли и гордо подняли все то, что третиновалось и отвергалось эмиграцией как советчина и большевизм.

Борис
Слуцкий

Тускло светили лампы — городская электростанция еще не работала на полную мощность. По ста-

ринному серебру кубков, огражденному бемским стеклом, ходили блики лунной тусклизны.

Шестьдесят человек, переживших двадцать пять лет изоляций, три года ужаса, со светлыми, пасхальными лицами готовились броситься в новую жизнь, переняв весь радикализм и всю решительность тех, кто некогда выбросил их из России.

ДЕВУШКИ ЕВРОПЫ

Итак, мы перешли границу. Впереди были большие богатые города — Констанца, Браилов, Бухарест. Ровно год, со времени великого дневного пожара Харькова, крушения гигантских корпусов, наблюдавшегося из арбузных бахчей, мы острили по поводу внеурбанистичности наших маршрутов. Армия именвала себя «проселочной», «деревенской», «сельскохозяйственной». Завидовали соседям, бравшим Полтаву или Кременчуг. Даже штабные офицеры по шесть месяцев не стучали каблуками по асфальту.

Внезапная, почти столкнутая в море, открывается Констанца. Она почти совпадает со средней мечтой о счастье и о «после войны». Рестораны. Ванне. Кровати с чистым бельем. Лавки с рептильными продавцами. И женщины, нарядные городские женщины — девушки Европы — первая дань, взятая нами с побежденных.

В сентябре 1941 года я вышел из госпиталя и пошел по улицам Свердловска. После двух месяцев горя, после халатного однообразия санитарок ударила и оглушила столичная толпа, шляпки и шелковые чулки. Это было похоже на запах крепких духов. Стало страшно смотреть в глаза молодым женщинам — взгляды могли показаться им слишком откровенными.

■ Раздвиньте масштабы ожидания — с двух меся-

цев до войны, то есть до целой жизни. Увеличьте неожиданность и своеобычность обстановки стремительностью этого последнего военного лета, чуждостью расы, морем, миром. Уберите боязнь испугать женщину открытостью желания. Где-то здесь лежит разница между Свердловском и Констанцей.

Мы подходили к ним прямо на улицах, днем, среди толпы. Козыряли. Спрашивали, который час, потом сразу же, не дожидаясь ответа: «Говорите ли Вы по-русски?» Через неделю женщины научились узнавать нас на подходе, по учащенности шага. И, чуя погоню, они убыстряли, а иногда замедляли свой шаг. На больших стоянках я начинаю здороваться с самыми красивыми. Почти все отвечали со второго, улыбались с третьего, с четвертого раза.

Мы подходили к ним вплотную, почти заграждая дорогу. Спрашивали, как Вас зовут, и поясняли: Елена, Мария, Ольга, — припоминая лучшие из домашних имен. Почти никогда не ошибались. Позже, в Венгрии, Сербии, мы услышали неслыханные: Гизелла, Илона, Маргит, Иованка.

Миллионы европейнок были досуха выжаты этой войной. В 1939-м, 1940-м, 1941 годах они отдавались своим стыдливым возлюбленным — чтоб врагу не досталось. Так грешили тысячи москвичек на окопных работах в октябре, когда немцы бросали мастерски сделанные листовки:

*Девушки и дамочки,
Не ройте ваши ямочки —
Приедут наши таночки,
Зароют ваши ямочки.*

И небритые окруженцы с усталым удивлением смотрели на сырые противотанковые рвы.

Потом пришли немцы. Не всех тех, кто в 1944-м и 1945 годах душил в сортирах белесых ребенчков, кто

перестригался под крестьяночку, кто с ужасом слушал: «Немцам давала, а своим не хочешь!» — можно со спокойной душой обвинить в предательстве. Помимо шелковых чулок с похабными стрелками, помимо всех и всяческих шоколадов сексуальная измена родины имела этические и эстетические причины.

Двадцать лет наглядная пропаганда наша внушала девушкам идеал мужчины — голубоглазого, статного, с белесыми северными волосами. Эсэсовские блондины были предвосхищены наивными плакатами. И наряду с народным восприятием немца — рыжего, неопрятного, противного — жила светлая девичья дума о желанном женихе.

Помимо этого слабые умы были потрясены основательностью, с которой устраивались немцы. Под корень вырубались целые народы — еврейский, цыганский.

С другой стороны, с броской беспечностью были публично прощены пассивизировавшие себя коммунисты. Зимой 1941 года, в недели жесточайших поражений, немецкий комендант Барановичей давал командирским женам пропуск до Горького, до Урала: «Пока дойдете — там уже будут наши танки». Я видел одну из этих женщин. Пешком, с младенцем в заплечном мешке она прошла вдоль великой магистрали этой войны — Минского шоссе от Барановичей до Кубинки¹. Комендантские патрули двух армий пропускали ее беспрепятственно, с почтительным удивлением.

В январе, восточнее Можайска, перешла фронт. Ребенок умер за неделю до этого, и пустой мешок, забытый, бил ее по спине.

Борис Слуцкий

Ширилась вера в долговечность немцев — от газет, где печатали Зинаиду Гиппиус², от измен председателей горсоветов, от неслыханного по своей пропагандной значимости перевода всех советских железнодорожных путей на европейскую колею³.

В ноябре 1941-го, в Казани или Ленинграде — по сю сторону фронта с нами были не только вера, но и знание, не только фанатизм, но и расчет. В это же время русофилы и патриоты оккупированного Смоленска неизбежно вербовались из числа идеалистов, чуть прекрасодушных. Недаром среди них было столько сельских учителей. Не случайно подпольным Харьковом руководил простой рабочий, старый участник событий 1905-го и 1917 годов.

Потом пришла Красная Армия. Девушка-сербиянка, обнимая нашего офицера, шептала ему: «Я — савезница». Давали из патриотизма, от радости, от избытка чувств. И наряду с этим был мерзкий шепоток неудачников: «Немцам давала, а своим не даешь!»

Известно, что через полтора года после обнародования любой хорошей песни в России появляется ее похабный вариант. Война отстраняла привычные мотивы их миноризацией. И девушки России сочинили о русской девушке песню, в которой пели:

*Молодого летчика, девушка, любила ты
И за пайку хлеба немцу продалась!*

В Европе женщины сдались, изменили раньше всех. Адвокат Голда, умный человек, суммируя устную «Россику» Капошвара⁴, говорил: «Очень хорошо, что русские так любят детей. Очень плохо, что они так любят женщин». Он не учитывал, что женщины-венгерки тоже любили русских, что наряду с темным страхом, раздвигавшим колени матрон и матерей семейств, были ласковость девушек и отчаянная нежность солдаток, отдававшихся убийцам своих мужей.

Меня всегда потрясала, сбивала с толку, дезориентировала легкость, позорная легкость любовных отношений. Порядочные женщины, безусловно, бескорыстные, походили на проститутток — торопливой до

ступностью, стремлением избежать промежуточные этапы, неинтересом к мотивам, толкающим мужчину на сближение с ними.

Подобно людям, из всего лексикона любовной лирики узнавшим три похабных слова, они сводили все дело к нескольким телодвижениям, вызывая обиду и презрение у самых желторотых из наших офицеров. Конечно, знание языка способствовало ловеласам, так же как и нахальство, умение вовремя пригрозить, напугать. Но были люди, абсолютно бессловесные, к тому же девственники, которые развратились в заграничном походе, не выучив и десяти слов на иностранном языке.

Не будем, однако, бросать камень в огород европейских магдалин.

Во всеобщей свистопляске оккупаций, правительств, личных знакомств и перемен девственность казалась слабой ниткой, привязывающей к довоенной устойчивости, к категорическому императиву, морали, семье. И многие рвали ниточку. Сдерживающими побуждениями служили совсем не этика, а боязнь заразиться, страх перед оглаской, перед беременностью.

Однако так называемый жизненный опыт вскоре разуверил европейцев в фашистской легенде о поголовной зараженности красноармейцев. Боялись, пока в газетах печатались документы, подобные акту «о большевистских зверствах, выявленных при отвоевании Фельдбаха». Огромными буквами, черным по красному, свидетели (один профессор, один епископ, один рабочий, один английский военнопленный) утверждали: все взрослые жительницы Фельдбаха, уцелевшие от убийств,— заражены сифилисом и триппером.

Борис Служкий Но минули две недели оккупации. Городская лечебница Граца закончила обследование изнасилованных в городе и окрестностях, и мне странным тоном, успокоительным тоном, было заявлено, что, к счастью, из ста семидесяти четырех пострадавших, ■ только семь заболели триппером.

Так был сокращен тезис о зараженности. Болезнь огласки была устойчивее. Устранить ее было довольно трудно.

Однако существовали физические условия, способствовавшие свободной международной любви.

Это были: право постоя, вселившее в каждую семью молодого офицера, независимо от того, были ли в этой семье мужчины и пожилые женщины или нет. Таким физическим фактором, затруднявшим огласку, была и специфика европейских квартирных условий, полная изоляция жилья одной семьи, отсутствие общих ванн, кухонь, коридоров.

Наряду с физическими были и моральные условия, срывающие огласку. Постепенно факт завоевания развратил творившие общественное мнение верхи.

Тот же самый епископский канцлер (доктор Штайнер, заместитель Павликовского, князя-епископа Штирии), который в апреле громогласно, черным по красному, обвинял нас в семи смертных грехах, в мае подписывал публичные акты «Комиссии по расследованию гестаповских зверств». Нельзя сказать, чтобы последние украшались этой подписью, но акты черно-красные были окончательно скомпрометированы, а вместе с ними и Штайнер, как один из творцов «общественного мнения о прелюбодеянии».

Вышесказанное вполне применимо к еще одному разряду «высоких свидетелей» — профессуре. Они тоже подписывали и наши, и фашистские акты.

Третья категория «высоких свидетелей» — рабоче — поспешно ушла в лояльнейшую социал-демократию.

Наконец, четвертая категория — английские и американские военнопленные — толпились в комендатурах, готовые лизать руку, которая выписала бы им пропуск в союзническую зону.

Всеобщая развращенность покрыла и скрыла особенную женскую развращенность, сделала ее невидной и нестыдной.

Так была бита по пунктам порождавшая боязнь огласки черно-красная афиша.

Оставалась боязнь беременности.

Однако в 40-х годах XX века европейская биохимия и европейская фармакология поставили беременность в разряд процессов, вполне поддающихся управлению. Половина лирических сюжетов подлежит атрофированию в эпоху вагиноля и контрауситина. То же можно сказать о мотивации многих дамских самоубийств и детоубийств.

Оставалась небольшая категория женщин, не умевших или не хотевших вытравить плод. Они-то и составляли проблему, особенно, в Австрии, стране, где всеобщая религиозность и всеобщая лояльность перед законом восставали против абортгов.

В Штирии дело дошло до того, что обком обсуждал меры, как помочь женщинам, забеременевшим от русских. Решили организовать травление тайно. Здесь кончается проблема легкости любовных отношений и начинается проблема прочности этих отношений. Уже в августе — сентябре 1944 года румынки пытались применить прием, изобретенный еще римскими матронами во времена Алариха и вандалов⁵.

Весь 3-й Украинский фронт смеялся тогда над приказом, живописующим свадьбу капитана, Героя Советского Союза, командира стрелкового батальона на помещицкой дочке. Рассказывали о приданом — 30 миллионах (тогда еще весьма калорийных) лей, лошадях, какой-то посуде. Проспавшись после свадьбы, капитан расписался на приказе и поехал дальше. Так окончился этот, может быть, первый «европейский» брак наших офицеров.

Борис Случкий

В начале 1945 года даже самые глупые венгерские крестьяночки не верили нашим обещаниям. Европейки уже были осведомлены о том, что нам запре-

щают жениться на иностранках, и подозревали, что имеется аналогичный приказ также и о совместном появлении в ресторане, кино и т. п.

Это не мешало им любить наших ловеласов, но придавало этой любви сугубо «оуайдумный» характер.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Еще в Румынии, в августе 1944-го, профессия переводчика стала выгоднейшей. В Венгрии переводчикам русского языка платили министерские оклады.

Вице-губернатор Шомоди Штефайч Паль пожаловался коменданту Капошвара, что переводчик комендатуры Николай получает на шестьсот пенго больше вице-губернаторского жалованья. Захаров, не опровергая по существу, указал, что колбасник комендатуры получает три тысячи пенго в месяц.

Полнее всего дефицитность русского языка удостоверяла вывеска: «Нужно пощадить. Вишневский» — на воротах частного дома.

Комендантом Надьканижи тогда был майор Вишневский, который рассматривал эти вывески, как замену охраны.

Там же на социал-демократическом партдоме села вывеска: «Заведение социал-демократической партии».

Я сам выдавал венгерским попам шпаргалки: «Дом священника — под охраной комендатуры». Попы дули на непросохшие чернила и укладывали бумажонки в недра шелковых, парадных ряс.

Борис
Служкий

Митра Митрович¹ перевела на сербский «Непокоренные» Горбатова², не зная русского языка. Перевод был издан. Факт, говорящий не только об эластичности ■ стилия Митрович, но и о податливости стилия Горбатова.

Партизанские генералы, комиссары, министры, объяснявшиеся по-русски необычайно уверенно, зачастую не знали ничего. Нешкович и Тодорович, завидя меня, кричали обидно-приветливо: «До свиданья!» Впрочем, «здравствуйте» при прощании с русскими говорила вся Балканская Европа. В подполье изучали более «Антидюринг» в подлиннике³. Русское исходило от многочисленных белогвардейцев и имело однозвонный привкус.

Переводчики вербовались.

А. Повсюду — из белогвардейцев. В Субботице целое поколение белогвардейской молодежи ушло в переводчики к пограничникам. Дети. Отцы уходили в охранный корпус. В комендатуре Граца работала мышиноного цвета старушонка. Говорила со Смольным акцентом. Оплачивалась обедами из солдатской столовой. У нее нашли револьвер, пропавший у дежурного офицера. Позже я видел ее за решеткой комендантской каталажки.

Б. В Румынии — из бессарабцев. Их было очень много. В Крайове русскую речь можно было слышать на улице. Бродили бородатые, унылые, беглые попы — близнецы сельских батюшек. В 1940-м они репатрировались из Аккермана или Бендер. Бедствовали. Шептали. В Румынии переводчики были дешевые, более, чем где-либо.

В. В Румынии — из придунайских некрасовцев⁴ — удивительного народа, сохранившего пыточную, староверческую свежесть языка раскольнического списка в Тульче и детскую верность России. Когда формировались добровольческие коммунарные дивизии «Гудор Владимиреску», некрасовцы шли туда толпами. Я встречал их, возвращавшихся с фронта, в выцветших красноармейских гимнастерках 3-го срока, в пилотках, белых от стирки; частенько оборванных, ощущавших свое «заодно» с красноармейцами, бурлившими на станциях. На вопрос о планах и перспективах они отвечали: «бить румынских буржуев».

Если Россия захочет соединиться с Болгарией, они составят костяк черноморского коридора.

Г. В Венгрии — из военнопленных, не возвратившихся в Россию⁵. Двадцать лет разрыва посольских сношений способствовало ассимиляции крестьянского большинства пленных. В Россию пробрались — через Чехословакию, Францию — немногие интеллигенты. В каждом большом селе был свой русский, в городе пять-шесть. Обычно пастухи, батраки, работники, они занимали последнюю ступень социальной лестницы. От традиционной парадной нелюбви их охраняла аполитичность к власти. Местного языка многие так и не изучили. Русский полузабыли. Дети их выглядели совершенными мадьярчатами — с неожиданными тульскими льняными волосиками. Когда пришли свои, пленные ушли переводчиками, осведомителями, наводчиками; были жестоки — втихомолку; собирались остаться на новой родине, мстили за второсортность, за подозрение, объединяли себя с Россией. В 1940 году некоторые из них пытались вернуться с помощью открывшегося в Будапеште посольства. Война оборвала их хлопоты, надежно устроив их под надзор полиции. Эта прослойка встречалась и в Австрии. Меньше было русских женщин, вывезенных мадьярами из плена.

Д. В Венгрии — из карпато-украинцев, довольно впрочем, немногочисленных. Среди них было много евреев. Украинцы, исконные русофилы, монархисты либо коммунисты. Я с удивлением узнал о существовании карпато-русской фашистской партии во главе с церковным регентом Фенчиком. Направленность — прогермано-русская и антивенгерско-украинская. Русский язык украинцы знают плохо. Фразу начинают и кончают: «Пожалуйста». Хорти, по-церковному, склоняют Хортий. В лагерях для военнопленных были переводчиками и, отчасти, высшим словом.

Борис Слущкий

■ Е. Коммунисты. В Венгрии в каждом обкоме был

специалист по русским делам, сидевший на переговорах. Обычно он пять-пятнадцать лет служил где-нибудь в Ростокинском районе, главбухом или пропагандистом. Русский язык знал основательно. Стремился вернуться в Москву. К товарищам по партии относился несколько свысока — с высоты русского, умудренного, антинаивного стиля партработы. Работать с такими было легко. В Болгарии была еще одна прослойка, неплохо говорившая по-русски, — традиционное русофильское меньшинство офицерской интеллигенции — академическая, полковничья знать. Отсюда вышла группа «звено»⁶, характеризующая нашими брошюрами как республиканско-фашистская. Многолетняя ориентация на Милютина⁷ и Драгомирова⁸ связала их с коммунистами. 9 сентября они вывели на софийские улицы танковый полк. Они же дали Болгарии премьера и главнокомандующих. Среди них немало связанных кровным родством с русскими, воспитывавших детей в софийской белой гимназии.

В Венгрии среди коммунистов попадались люди с удивительными биографиями. Шинкович, пленный первой мировой войны, политрук роты Красной Армии, комендант города Челябинска в 1919 году. Посланный в 1921 году на работу в Венгрию, был многократно бит в полиции, отпустили — двадцать лет работал парикмахерским подмастерьем. Когда пришли наши, его взяли переводчиком на бойню. Месяц он исполнял там свой партийный долг, после чего был взят в обком первым секретарем. Он был плохим первым секретарем. Но как он воспрял в обкоме. Никогда не забуду народных, единственных костюмов коммунистов-рабочих, надеваемых ими при исполнении партийных обязанностей. Служба в русской Красной Армии — это была марка в стране, где тысячи людей служили в венгерской Красной Армии. Такой анкетный плюс весьма помогал в партийной карьере.

Интеллигенты. Таких почти не было. Вспоминается переводчик в Надьканиже Морвал. Он пришел в комендатуру со стопкой золототисненных романов — собственных — и списков опасных людей, который упорно мне навязывал. Русский язык знал плохо, учил его в чешской учительской семинарии. Тем не менее, с рекламным шумом был приглашен в Печ, в университет, профессором русского языка.

* * *

В Балатон-Богларе вскочивших на рьсях мотоциклистов встретило серое двухэтажное здание католической плебани, на нем висел плакат: «Под покровительством римского папы». Ниже была приколотая записка, уведомлявшая, что папский нунций⁹ в Будапеште просит Красную Армию оказать содействие и покровительство. Датировано сентябрем 1944 года. Нунциева предосторожность установила, кажется, первую линию, на которую русский язык, по редкости, оказывал магическое действие. Вступившие в Боглар разведчики выгнали попов и заняли плебанию. Две недели я жил под покровительством римского папы (плакат оставили) и ел орехи, обнаруженные на католическом чердаке.

Первое же знакомство с русскими привело к установлению мнения, что с ними можно договориться.

Отсюда — дороговизна переводчиков и возникновение словарной индустрии. В каждом крупном городе Венгрии продавался свой словарь на пятьсот, тысячу, три тысячи слов.

Сначала было много недоразумений с отбором слов. Новейшие лексикографы отнюдь не полагали, что их труд должен быть вторым после Геркулесова.

■ Борис Служкий

Поляки и чехи, сербы, исходившие из того, что сла-

вянского братства достаточно для познания русского языка, бывшие пленные широко использовали при составлении словарей мадьярские карманные справочники для солдат оккупационной армии.

Такие словари носили наступательный характер, до смешного неуместный. Мы много смеялись над фразами типа: «Немедленно предоставьте квартиру для мадьярского офицера»; или: «Принесите масла, сала, яйца, молоко, три литра вина!»

Когда мы ехали через Венгрию в июне 1945-го, там уже были изданы не только «Краткий курс»¹⁰ (раскупленный и подчеркиваемый всеми слоями населения), но и «Государство и революция», и даже антология русской лирики от Державина до Клычкова¹¹ и Мандельштама¹².

Коммунисты создавали курсы по изучению русского языка. Подыскивали преподавателей русского языка для начальных школ. В Крайове местный поэтический журнал, который в городе считали футуристическим, хотя там сидели неоклассики, напечатал переводы Маяковского и Есенина и даже «Волга впадает в Каспийское море» Бориса Пильняка¹³.

В Венгрии, да и не только в Венгрии, полагали, что украинцы лучше русских, добрее, мягче. Их рассматривали как этическую, а не как национальную категорию. Интересно, что сербы считали (и может быть, не без основания), что украинский язык намного ближе к сербскому, чем русский.

С зимы 1944—1945 гг. в армии появилось новое словечко: «Махнем!» Махали обычно часы «ход на ход», а также «не глядя». Европейцы приняли словечко в лингвистический серьез, и в Байе моя знакомая говорила мне: «Мы сделали «Махнем!» с нашим капитаном. Он мне приемник — я ему ручные часы». Ей — выгодней, ему — транспортабельней.

Где-то в Румынии, я впервые услышал, как выговаривает Европа русское слово «товарищ». Это сло-

во — одно из важнейших завоеваний революции, демократический коэффициент, властно оговаривающий и ограничивающий самодержавие титулов генерал, директор, начальник. Однако здесь его произносят точь-в-точь как «господин», или даже как «ваше высокоблагородие». Не всегда эта неточность объясняется незнанием смысла слова.

На мадьяр знание их языка русским солдатом производило потрясающее впечатление. Обеспечивало успех по всем линиям.

В окрестностях Граца располагалась школа шпионов, готовившая «русские» кадры. Все курсанты при нашем приближении удрали в английскую зону. О масштабах подготовки дает представление брошенная немцами библиотека. Здесь — комплекты всех центральных газет с 1917 года, вагоны и вагоны журналов, многотиражек, районных и областных изданий.

По грифам и экслибрисам можно установить, что сюда свозились целые книжные магазины (например, русский магазин Перского в Вене), целые районные библиотеки. Хорошо представлена вся досоветская, антисоветская, советская и секретно-советская литература (в том числе, бюллетени партийных съездов). Впрочем, мне никогда не встречались шпионы, о которых можно было бы сказать, что они читатели этой библиотеки.

Летом 1941 года на смоленский участок фронта были направлены десятки людей с одной и той же легендой: «Мы из Сумской области». Сумских стали расстреливать без долгих разговоров.

Тогда же в июле, перед переходом свежей 252-й дивизии через Западную Двину, над ее колоннами покружился самолет, сбросил множество листовок, где авторы призывая «русских спасти Россию», все же писали последнюю через одно «с».

ПОПЫ

С католической церковью у нас установились странные отношения.

Сначала мы были взаимно напуганы друг другом.

Мы знали религиозность мадьяр и австрийцев, авторитет их попов. Приходилось учитывать, что отпущник нарушает, правда, заповедь насчет жены ближнего, но аккуратно сознается в этом на исповеди. Запретить проповедь было невозможно, контроль ее был бы не эффективен. Нужно было считаться с существованием авторитетного и бесконтрольного (единственного бесконтрольного) жанра пропаганды. На основании всего этого мы взирали на пасторов с некоторой опаской.

Что же касается пасторов, то, клеветца еженедельно о наших атеистических зверствах, они, отчасти, уверовали в них сами, а более, боялись ответственности за клевету.

Просто игнорировать друг друга было невозможно. По мудрому приказанию Вселукавейшего римского престола¹, попы повсеместно уклонялись от принудительной эвакуации и остались с паствой.

Итак, разделившись с государственной частью своей деятельности в Надьканиже, я вызвал к себе в комендатуру католического vicaria² с замом, а также евангелического и лютеранского пасторов. Я забыл предупредить на входе, и часовой долго не пускал их вовнутрь.

Наконец, они вошли, расселись в коридоре, старенькие, толстенные, с неприятными старушечье-женственными физиономиями.

Со страхом ожидали викария (его я вызвал первым). Однако, едва он просительно просунулся в дверь, я встал и самолично усадил его в кресло. Мы были обоюдно сладкими-сладкими. Я называл его «Святой отец» и даже «Ваше святейшество». Барбье получил приказ переводить поживее.

Викарий обращался ко мне не иначе, как «достопочтенный господин майор».

Прошло полтора месяца, и епископ Штирии возвел меня в «Ваше высокородие». Тогда же это было для меня внове.

У господина викария не было никаких претензий к Красной Армии. Он охотно прощал ее бойцам отдельные эксцессы типа кражи двух свиней и одной поношенной шелковой рясы во Францисканском монастыре³.

Здесь же я отметил, что уже укоренилось мнение, что красноармеец способен только на «имущественный ущерб церкви», но никогда не посягнет на личность священнослужителя и, тем более, не совершит кощунства.

По тем временам это было вполне приемлемое мнение.

В итоге викарий признался мне, что он благодарит Бога за приход Красной Армии. Мотивация благодарности была, правда, несколько неожиданной. Викария радовало, что наконец, хоть какой ни есть, мир установился.

Все же я присоветовал ему огласить эту благодарность в воскресных проповедях, во всех двенадцати церквях города.

На этом мы и разошлись, весьма довольные друг другом.

Борис Служкий

■ Зато в это же утро мне попался преотвратитель-

ный лютеранский попишка. Недаром половина его прихожан — немцы — сбежала из города. Он совсем осмелел, узнав от vicария о моем благодущии, и сразу же начал жаловаться — все на тот же «имущественный ущерб».

При этом он необдуманно допустил ехидство, сказав: «К счастью, Ваши солдаты воспитаны в неведении лютеранского обряда. Поэтому, проникнув в мою церковь, они не обратились к ларцу с драгоценными сосудами, но сорвали и унесли две милостинные кружки. В одной было полтора килограмма медных денег, в другой — не более восьмисот граммов».

Я съел, но ответил ему, что христианам предписано прощать своих обидчиков, особенно, если обида измеряется такой мизерной цифрой, как «не более восьмисот граммов меди».

И отпустил его с миром.

Позже мы неоднократно встречались с vicарием и начинали кланяться друг другу за двадцать шагов.

* * *

Совсем иной характер носили мои отношения с Павликовским, фюрстбишофом Штирии. Этот сам искал встречи со мной и явственно был уверен, что при любом обороте дел я его в каталажку не посажу.

Павликовский — мужчина пятидесяти лет или немногим больше, толстощекий, молодцеватый, с некоторой офицерской игривостью. Да он и был офицером — полевым епископом австрийской армии.

Он, либерал и оппортунист в политике, в частной жизни — любитель закусить и, кажется, бабник.

Поставили мы у его квартиры двухсменный пост — двух молодых сержантов. Через неделю Павли-

ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

ковский просит отозвать караул — сержанты ночуют у его молодой горничной.

В письме чувствуется обида не только принципиальная, но и личная.

Он осведомлен о наших церковных делах и оценивает их правильно.

Я спрашиваю его о служебной подчиненности.

— По вопросам каноническим я получаю указания от архиепископа Зальцбургского, по всем вообще вопросам — от святого Престола. Фактически же — мне некому подчиняться, так как уже семь лет между Штирией и Римом нет никакой связи.

При этом он вздыхает, и его толстая рожа преисполняется смирением. Я спрашиваю его о размерах его влияния.

— У меня около миллиона прихожан — девяносто пять процентов всего населения Штирии (я точно знаю, что не более девяноста). Четыреста с лишком церквей, двадцать два монастыря. Фашисты арестовали сто семьдесят из моих подчиненных. Но все же у меня достаточно людей, чтобы служить.

Он забывает сказать, что в его руках «народная» христианско-социалистическая партия, «черные» — треть избирателей, которую мы вынуждены легализовать и которая четыре года диктаторствовала в Австрии.

Его требования велики и определены.

В условиях полновластия безбожной Красной Армии и атеистического, «красного» социал-демократического правительства он наступает по всему фронту.

— Монастырские здания, захваченные фашистами, должны быть возвращены монахам. И монахов собирают по домам, водворяют в монастыри.

— Народная партия должна получить портфели, здания, место под солнцем.

■ В школах должно быть восстановлено преподавание Закона Божьего.

И социал-демократы, в свое время нажившиеся на просвещенческом радикализме, вводят Закон Божий — правда, только для детей верующих родителей. У Павликовского два довода: оборонительный — сто семьдесят интернированных нацистами католических священников и наступательный — миллион католиков в Штирии.

С ним приходится церемониться более, чем с кем-либо из «местных».

Государству, широко популяризовавшему в свое время песенку:

*Долой, долой монахов!
Долой, долой попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов! —*

в качестве официального отношения к религии, ныне приходится быть более роялистом, чем король (т. е. чем союзники).

И в то время, как неумудренные в политике солдаты дважды очищают князь-епископские кладовые, мы, начальство, идем на важные уступки. И потихоньку насаждаем профессорскую христианско-идеалистическую оппозицию в народной партии.

У вас польская фамилия, господин майор, — это Павликовский деликатно осведомляется о моей национальности.

Узнав, что я полуполяк-полурусский, он обрадованно объявляет о своем полупольском-полунемецком происхождении. И мы обрадованно улыбаемся друг другу. Далее выясняется легкий игривый антисемитизм господина епископа — офицерского, кают-компанейского типа. Впрочем, он быстро умолкает — из почтения к моим погонам интернационалистической армии.

Моя первая и единственная встреча с мусульманскими попами относится к сентябрю 1944 года. ■

Мусульмане — наиболее темные и бедные — десять процентов болгарского населения. Потомки завоевателей, они не усвоили реваншистского пантюризма их крымских или казанских сородичей. В городе — это парикмахеры, на селе — бедняки, в армии — саперы и пехотинцы.

Свирепость школьных учебников поглощается национальным добродушием болгар и создает для мусульман сносный режим, конечно, при условии полной аполитичности. Даже рабочая партия не имела среди них никакого влияния.

Я узнал, что в Плевне проживает муфтий Северной Болгарии — духовный вождь ста тысяч верующих — и предупредил его о своем желании встретиться с ним.

Меня ожидал весь Духовный Совет муфтиата. Сам муфтий оказался совсем молодым человеком в бухгалтерском пиджачишке в елочку, без галстука и воротника, страдальчески краснел, он угощал меня кофе с паточными подушечками. Здесь они намного дешевле сахара.

Две тысячи лет тому назад разгромленный еврейский народ создал церковь мести и реванша — обруч, скрепивший нацию и раздавивший инакомыслящих.

Здесь, в убежище другой разгромленной религии, я не нашел ни пророков, ни фанатиков. Унылые ремесленники, изрядно безграмотные, потихоньку жаловались на зажим, на безденежье, хвалили усердие в вере своих нищих прихожан.

В Красной Армии нашелся элемент, чрезвычайно для них приемлемый. Еще в Рушуке в городскую комендатуру пришел пастух из дальнего черкесского села. Он пригласил на начинающийся рамазан⁴ сто красноармейцев, обязательно из мусульманских народностей. Если найдется тысяча, все равно, пусть приходят все — мы обратимся к соседям и примем ■ всех, как положено.

Старички в фесках, мирные цирюльники с злодейскими лицами, затаив дыхание, слушали о наших знатных татарах, о шести мусульманских республиках, о генералах и комиссарах. Мне было обещано, что сто тысяч верующих будут молить Аллаха за Красную Армию. На этом мы расстались.

РАЗЛОЖЕНИЕ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

ПОСЛЕДНЕЕ ВЕШАНИЕ

В конце апреля в воздухе повеяло капитуляцией. Мы так устали ждать победу, что умышленно отвергали возможность увидеть ее ранее, чем через многие месяцы. Давным-давно была забыта легковерная зима под Москвой, когда весь фронт точно знал, что 1 марта мы перейдем старую границу, и в ротах митинговали в честь взятия шести городов: Орла, Курска, Одессы и еще чего-то.

Противник вел себя так же, как и полтора года назад.

Тем не менее, победа предчувствовалась во всем — в потрясающем ландшафте австрийских Альп, в письмах из дома, в позывных радиостанций, во внезапной осторожности, с которой стали ходить по передовой очень храбрые люди. 7 мая в Реймсе были получены подписи немецких уполномоченных под соглашением капитуляции. В ту же ночь Военный Совет получил шифровку Толбухина — обращение к командованию и солдатам противника.

Это был приказ, прямой приказ — кладите оружие!

Он еще опирался на немецкие документы, на слова Дёница¹, на тексты соглашения. Но сама определенность тона свидетельствовала, что отсюда, из этих жестких слов, выйдут регламенты лагерей для военнопленных, распоряжения о льготах за превышение нормы поведения, требование ста лет насильствен-

ной демилитаризации Германии. Шифровку настро-го засекретили — от всех, включая командиров дивизий. В ее действенность почти верили, но яснее ясного была необходимость удержать войска от преждевременных радостей, от всякого чемоданства и сепаратного (каждый для себя) заканчивания войны.

Утром 8 мая мне вручили текст и инструкции. По-ехали в левофланговую дивизию — 104-ю, занимав-шую Радкерсбург². Вещать было приказано с 16.00. Это была верная смерть — чрезвычайно обидная — смерть в последний день войны.

До этого мне пришлось единожды вещать днем. Это было в Белграде — во время боя за Королевский дво-рец. Но тот бой походил на карнавал. Нашей работе аплодировали тысячи горожан. В рупоре торчал ог-ромный букет. Десять человек вышли из толпы, ког-да я вызывал добровольного диктора, знающего серб-ский язык.

И мы все были как пьяные от осеннего солнца, от запаха бензина и асфальта, от восхищения девушек, от бесспорной опасности — издали, усыпанная цве-тами, она походила на победу.

Сейчас я не чувствовал ничего, кроме тупой уста-лости. В Радкерсбург собрался ехать именно потому, что его каменные дома представляли укрытие, шанс, убежище.

Еще на подъезде к городу меня поразило странное молчание. Молчал весь немецкий берег. Молчал трех-этажный каменный дом на холме, с крыши которо-го немцы различали масть всякого куренка, пресе-дуемого нашим солдатом.

Комдив, полковник Обыденкин, с торжеством со-общил мне, что немец удрал еще утром, и разведчики не достигли еще немецких хвостов.

Я развернулся и поехал к правому соседу. Это была 73-я дивизия. Машина медленно ползла по крутым ■

склонам. Огромная, тупорылая, с белым бивнем рупора, покачивающимся впереди, она напоминала мастодонта, захиревшего в цивилизации, но сохранившего грузный голос и странную легкость движений. На НПЗ Щербенко, комдива 73-й, происходили необычайные события. Два часа тому назад сюда приезжала машина с капитаном, адъютантом командующего 2-й танковой армией де Ангелиса. Де Ангелис запрашивал условия капитуляции и просил прекратить стрельбу на участке армии. Это был конец войны. Стрельбу прекратили, адъютанта накормили обедом и отпустили с почетом.

В ожидании варягов и их золотых кольчуг на горку начало собираться начальство — дивизионное и корпусное. Приехал комкор Кравцов и его начальник политотдела <...> Грибов.

Предстояло вещать с позиции, находящейся в равном расстоянии от обеих аудиторий — немецкого переднего края и горки с нашими генералами.

Был день, белый день. Единственным выходом было свалиться под откос, сломать оси и ноги. Но об этом не думалось. Я плавно съехал с горки, развернулся, стал за домом. Пока грелись лампы, механически чистил сапоги валявшейся здесь же черной щеткой.

В радиусе трех километров в обе стороны два передних края видели нас. Видели и готовились — слушать. Экипаж, бледный и решительный, стоял у подвала. Я взмахнул рукой. Рупор откашлялся по-профессорски и заревел: «Война кончена».

Чтение приказа занимало девять с половиной минут. Добавьте паузы. Через три чтения я израсходовал половину заряда аккумуляторов. Мы выключили рупор и собрались ехать в другую дивизию. Казалось, война заканчивалась и для нас. Второе вещание могло начаться не ранее двенадцати часов — в темноте и относительной безопасности.

Не тут-то было.

Ко мне прибежал адъютант и передал приказание Кравцова: выдвинуться на пятьсот метров вперед, вещать текст еще два раза.

Пятьсот метров вперед означало четыреста метров от противника, открытая дорога, открытая местность.

Мой техник, хороший семьянин, осторожный человек, взбунтовался. Я укротил его злым взглядом. Поехали.

Было светло, совсем светло. Когда начали вещать, в сторону немцев была дана провокационная пулеметная очередь. Мы ждали. Я слышал, как осекся голос Барбье в кабине. С четырехсот метров нас достала бы и револьверная пуля. Но немцы молчали, слушали; казалось, что лес, скрывавший их передовую, дышал напряженным вниманием.

Тогда, отвещав приказ предписанные два раза, я озорно отпраздновал свое окончание войны — вальсом Штрауса, исконной музыкой разлагателей. Развернулся и медленно пополз в 214-й полк. Здесь должны были состояться последние вещания.

В штабе у приемника, топыря уши, сгрудились 23-летний полковник Давиденко, храбрец и умница, его майоры и капитаны. Слушали Белград. Из его плохо понимаемых передач родилось большинство слухов последних дней войны.

Около часа ночи в машине включили динамики, а я сошел в подвал, прилечь на полчаса. От пяти бессонных ночей, от физического ошутимого риска ныли кости, как от длительной перебежки под огнем.

Телефонист возбужденно передал мне трубку. Замполит полка майор Филюшкин, собрав у трех телефонов своих батальонных работников, читал им сообщение об окончании войны. Словно в телевизоре, вырисовывалась смятая бумажка, его четырехклассные, запинаящиеся буквы. Но когда заместители, не сговариваясь, заорали «ура!», я не выдержал и крикнул вместе с ними.

Война была окончена.

В этот миг раздалась взрывы — семь, десять, двенадцать. Было ясно, что они производятся образцово — одновременно, по приказу. Только разница в расстояниях производила впечатление некоторой последовательности взрывов.

Ровно в полночь армия де Ангелиса, обманувшая нашу бдительность симуляцией покорности, помчалась на запад, к добрым англичанам, сдаваться им в плен.

Прикрывающие отход саперы в назначенный срок взорвали мосты.

К моменту взрыва между нами и ними было пятнадцать километров, испорченная дорога, их страх, наша пьяная, усталая радость — радость окончания войны.

Через час мы сидели у Давиденко. Его комендант разбился в лепешку, собирая этот стол. Парами стояли большие, одинаковые бутылки — спирт, вода, спирт, вода.

Вкусно пахли дары благодарного населения — жареные гуси. Они были приготовлены настолько основательно, что всем стало ясно: комендант врет, оправдываясь импровизацией. Он знал о празднестве, по крайней мере, сутки тому назад.

Спирт разлился по самым отдаленным закоулкам тела. Над столом поднялся раскрасневшийся Давиденко, «наш Чапаев», как его называли в дивизии.

Он сказал: «Мы очень много слышали про немца за последнее время. Сначала нам говорили: разбить зверя; потом: добить зверя; потом: добить зверя в его собственной берлоге. И вот мы забрались в берлогу. Слышим: до победы остались месяцы; потом: недели, потом: немногие дни. И когда мы спорили, остаются часы или минуты, война окончилась. Взяла и окончилась. Ее больше нет, товарищи, и если завтра придется драться с фрицем, то об этом не напишут в сводках. И за это не дадут орденов». Так сказал Давиденко.

Борис Слуцкий

■ Наутро мы бросились догонять фрицев.

СЕБАСТИАН БАРБЬЕ

Пленного немца, Конрада Кановского, который трудился на меня в 1944 году, солдаты называли Кондрат. Его заместитель Себастиан Барбье, революционный эссеист, был соответственно переименован в Севастьяны.

Барбье был типичным немцем ближайшего будущего. Еще в 1943 году он понял, что, собственно говоря, все кончено. Полвека необъявленных войн изжили себя. Им на смену шли пятьдесят лет широко рекламируемого возмездия.

Внезапно немцы убедились, что они маленький народ, бедный народ. И афоризмы морали господ⁴ были быстро вытеснены краткими правилами: бьют — утрись и улыбнись, теснят — отходи в сторону. Когда бы доктрина христианства была впервые провозглашена в 1945 году, она нашла бы преданных адептов в лейтенантах баденских и гессенских дивизий.

Барбье рано продумал свои пятьдесят лет смирения. Перебегать к партизанам было нецелесообразно — они убивали всех немцев без исключения. Зато он перебежал к нам в первом же бою.

Позже он рассказывал: «Я знал, что самое главное — пройти передний край. Со штаба батальона начинается порядок, а на передовой — обязательно побьют, может быть, сильно». С удовлетворением отмечал, что его побили несильно.

Он происходил из Баната⁵ — края кулаков, двести лет подряд выписывавших сельскохозяйственные журналы и не читавших газет.

Здесь под черепичными крышами, за каменными, вечной кладки заборами, притрушенными песком, идет жизнь — медленная и густая, как отличное банатское масло. Здесь традиционно голосуют за список номер один — правительственной партии — и не отягощают себя чтением ее программ.

Здесь совершенно отсутствует элемент присутствия безумцев и идеологов. Может быть, поэтому в Банате нет ни искусства, ни культуры, ни политики, и его люди говорят на швабском диалекте — воспоминании о языке Клопштока⁶ и Гердера⁷.

С 1933 года банатцы начали получать посылки из Германии. Приезжие агитаторы искусно возбуждали уснувшее национальное чувство. Двести лет здесь говорили: «Мы банатцы» или реже: «Мы швабы!» Сейчас они узнали, что они немцы! И желание бодливости, которое вытолкнуло рога из черепов робких оленей⁸, овладело банатцами.

В 1941 году они дали двадцать тысяч юношей в дивизию СС «Принц Евгений». Перестали здороваться с православными односельчанами. Разделили имущество окрестных евреев. Так погиб Банат — родина Барбье.

Барбье утверждает, что Германии предстоит пятьдесят лет банатского периода. Отсиживаться от сильных врагов. Подставлять ляжки, закрывать голову. Торговаться по-хорошему. Не мечтать, не восстанавливать даже — латать черепичные крыши, расплесканные минометным огнем. В этой исторической перспективе он утром чистит мои сапоги, а вечером ведет со мной длинные разговоры о судьбе народов, империй, религий.

Барбье хорошо знает «своих».

В Австрии его пришлось одергивать: переводчика господина майора боялись больше, чем самого господина майора. Губернатору он говорил: «Выражайтесь пояснее»; епископу: «Мы не интересуемся переживаниями»; секретарю обкома социал-демократической партии: «Пришлите председателя, он, кажется, потолковее, чем Вы». И приносил мне не докладные, а суммы формулировок — ясные, точные, краткие.

Борис Служкий

■ Презирал немецкую исполнительность, дисциплиниро-

ванность, доверчивость. Знал: это все, что осталось у Германии, с этим придется латать черепичную крышу.

Воспитание его началось в старой Югославии, где дюжина наций грызла друг друга, и продолжалось в эсэсовской дивизии, которая жгла сербские деревни и сокрушала столбы с их названиями, чтобы не оставалось имени поверженного врага. Узнав наших солдат, он изумился. И ошибся, приняв их интернационализм за особую, чисто русскую отходчивость. Он знал, что не найдет ни семьи, ни земли, вдумчиво расспрашивал, как живут единичные немцы, допущенные партизанами к существованию. Примеряя себя к этой жизни, иногда жаловался мне: «Плохо быть немцем». В Венгрии называл себя сербом, в Австрии — мадьяром. Так чувствовали себя евреи в начале великого рассеяния.

Был красив. Штабные девушки засматривались на его русые волосы, на печальные глаза святого отрока, послушника из бедного монастыря.

Грешил с немками, венгерками, словенками. Смотрел на них просто и спокойно, так же, как и наши солдаты.

У него было самоощущение человека без предков, без рода. В деревню он хотел прийти без тяготы вещей, в штанах и рубахе. Отказывался от даров. Подаренный мною полушубок подержал в руках и сказал, что продаст за динары на югославской территории.

С алчным и завистливым недоверием слушал рассказы о советской стране — государстве без шовинизма и шовинистов.

Не знаю, считал ли он нашу доктрину самой справедливой, но безусловно, — самой сильной, и старательно штудировал «Войну и мир» и «Краткий курс», сопрягая непохожие формулы этих книг.

С холодным вниманием выслушивал жалобы своих компатриотов, горькие стоны изнасилованных, ■

жадные вопли ограбленных. У него было хорошее отдаление от событий, перспектива, включающая и боснийскую хижину, сожженную им в 1942-м, и концлагерь, куда в 1945-м посадили его стариков.

У него был закал историка, Иосифа Флавия⁹, шагающего по сожженной Палестине, считающего страдания и определяющего их закономерность, оправдывающего их закономерность, думающего не о прошлом, а о будущем.

* * *

С чем сравнить беспутное наслаждение, охватывавшее меня, когда, поворочавшись в десяти выбоинах, МГУ выползала на горку и судорожно скрипела, разворачивалась в сторону противника.

Подобно гаммельнским крысам¹⁰, немцы любили музыку. И я, как старый флейтист из Гаммельна, обычно начинал вещание с штраусовского вальса «Тысяча и одна ночь». Вокруг слоями напластывалась тишина — молчание ночного переднего края на спокойствие партера.

Из соседних ОП¹¹ прибегали сержанты и молили перевести машину в другое место — сегодня уже убило двоих из расчета. Пехотные командиры завлекательно обещали провести на горочку — и ближе, и безопаснее. Фрицы, мечтательные фрицы, выползали из блиндажей — топырили уши, сбрасывали каски. А я вещал «Тысячу и одну ночь», будя ностальгию, тоску по родине, изменническую из всех страстей человеческих.

Командиры стрелковых взводов боялись моей работы. Задолго до выезда по всем штабам пронеслась молва о «Черном вороне», «О зеленом

августе», машине, извлекающей огонь. И только солдаты по обе стороны линии ликовали, насвистывали, басили во тьму: «Еще, еще».

Предполагаемая сентиментальность фрицев определяла репертуар. На многих машинах ездили девушки — немочки из московских и эмигрантских семейств. Одна из них выдала себя за еврейку. Другая, более смелая, называла себя «фричихой». Были голоса, известные десяткам тысяч немцев, как позывные мировых радиостанций. Восемнадцатилетнюю Ганну Бауэр посадили в оборудованный для вещания «У-2», и две передовые, затаив дыхание, слушали ее детски пронзительный голосок, доносившийся из-под ближних облаков.

Иногда МГУ была гаммельнской флейтой не только в переносном смысле. На Донце взвод разведчиков переправился под музыку через Донец, около часа орудовал на том берегу, возвратился обратно. Сыграно было двадцать пластинок. Комбаты уговаривали молодых инструкторов выманить фрицев из-под земли и жестоко били в упор меломанов и мечтателей — последние ошметки моцартовской, добродушной, выдуманной Германии. Немцы заползали в блиндажи. Минометы плашмя ощупывали окрестность. В дикторской кабине все ходило ходуном от взрывной волны. Я стоял у машины и с тревожным восторгом рещал: «Прекратить? Нет, поиграть еще».

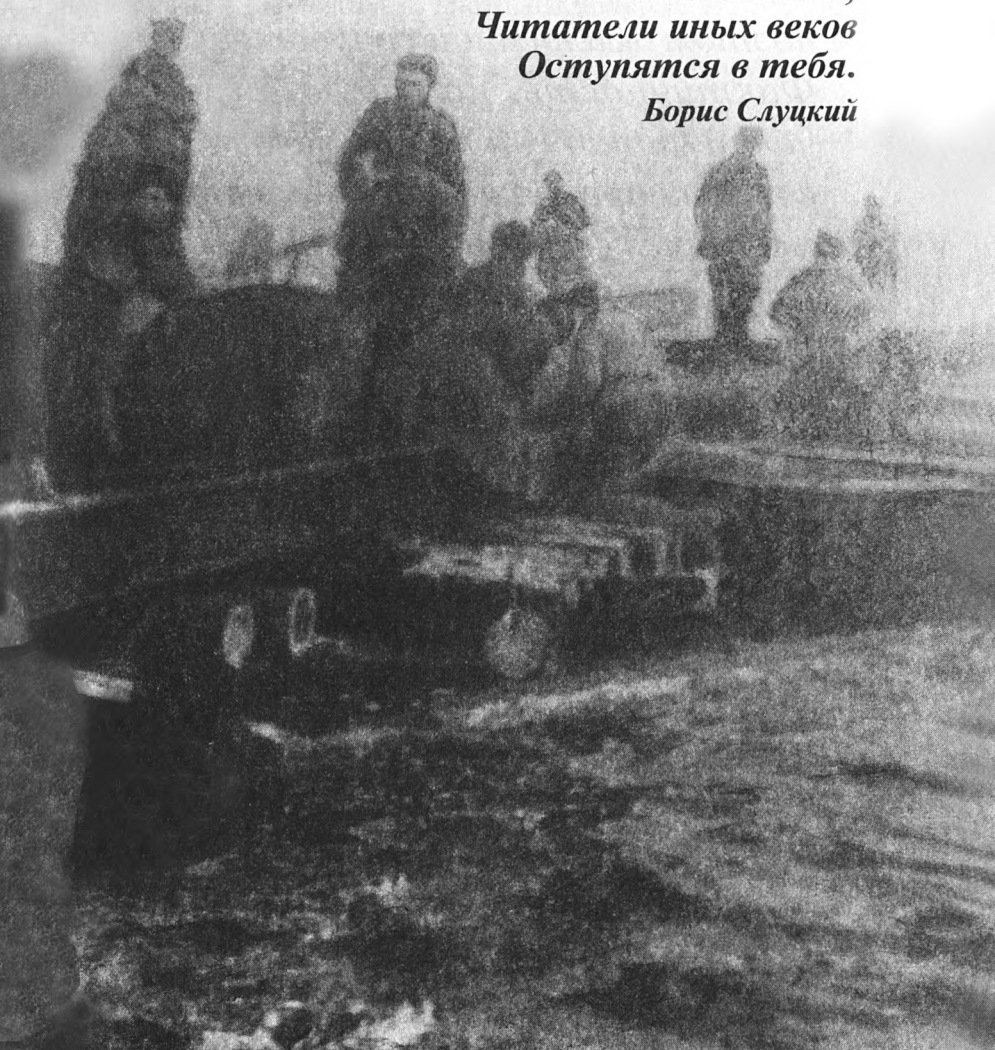


Стихотворения и баллады

*Как незасыпанный окоп
В зеленом поле ржи,
Среди стихов иных веков
Наш тихий стих, лежи.*

*Пускай, на звезды засмотрясь,
Покой и тишь любя,
Читатели иных веков
Оступятся в тебя.*

Борис Слуцкий



БОРИС СЛУЦКИЙ кажется порой поэтом якобинской беспощадности.

В действительности он был поэтом жалости и сочувствия... Фактичность, которую отмечают читатели поэта, является в поэзии преходящей и временной, меняются времена, меняется быт, меняется ощущение факта. Нетленность поэзии придает ее нравственный потенциал, и он с годами будет высветляться, ибо он составляет основу человеческой и поэтической цельности Слуцкого.

Давид Самойлов

ИНВАЛИДЫ

1

На Монмартре есть дом, на другие дома не похожий,
Здесь живут инвалиды, по прозвищу «гнусные рожи».
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.
Их убогие лица настолько противны природе,
Что приличные дамы обычно рожают досрочно
При поверхностном взгляде на этих несчастных уродин!
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.
Им пришлось быть на фронте, и смерть надавала пощечин.
Оскорбила их смерть и пустила по свету, как камень.
И они побрели, прикрывая несчастье руками.
И, чтоб лучших пейзажей не портили эти бродяги,
Чтоб их жен и невест от такого позора избавить —
Их толкнули сюда и расторгли законные браки —
Потому что они не имеют законного права!
Им тепло, и похлебка, и в праздники можно быть пьяным.
Но нельзя же без женщин! Остается одна Марианна.
О, пришла бы сюда эта тихая девушка в белом,
Они рвали б на части продолговатое тело.
Затерзали бы насмерть, но любили б не меньше.
Потому что нельзя же, нельзя же без женщин.

2

В пять часов
по утрам
санитар
умываться
будил их.
Он их любит,
и лупит,
и зовет их
«мои крокодилы»!

Крокодилы встают и довольны, не вспомнил покуда,
Но недаром на стенах дары господина Ахуда.
Этот мсье — он ученый. И вообще недурной человек
С перепутанным прошлым, с особым прищуром на вещи.
Он помешан на правде. И чтоб скрытое стало открытым,
Он прислал зеркала. Зеркала. Зеркала — инвалидам.
Закрывайтесь, клянитесь, в ресницы глаза затушуйте!
Вы посмотрите! Истина восторжествует!
После дня размышлений о том, что не так уже страшно,
После ночи забытья — простой человеческой ночи
Вас согнут, вас сомнут, оглушат. Ошарашат.
Эти темные маски. Их точность. Их тихая точность.
Так недаром Париж называет вас «гнусные рожи»!
Глас народа — глас Божий.
Они падают ниц! Пощади, всемогущий!
О, не дай нам смотреть, о, за что ты карашь невинных!
Но ему все равно! Он имеет Марию и кущи,
И ему наплевать.
Он — довольно красивый мужчина.

СОРОКОВОЙ ГОД

Сороковой год —
Пороховой склад.
У Гитлера дела идут на лад.
А наши как дела?
Литва — вошла,
Эстония и Латвия — вошла
В состав страны.
Их просьбы — учтены.
У пограничного столба,
Где наш боец и тот — зольдат,
Судьбе глядит в глаза судьба.
С утра до вечера. Глядят!

День начинается с газет.
В них ни словечка — нет,
Но все равно читаем между строк,
Какая должность легкая — пророк!
А между строк любой судьбу прочтет,
А перспективы все определяют:
Сороковой год.

Пороховой склад.
Играют Вагнера со всех эстрад,
А я ему — не рад.
Из головы другое не идет:
Сороковой год —
Пороховой склад.

Мы скинулись, собрались по рублю,
Все, с кем пишу, кого люблю,
И выпили, и мелем чепуху,
Но Павел вдруг торжественно встанет:
— Давайте-ка напишем по стиху

На смерть друг друга. Год — как склад
Пороховой. Произведем обмен баллад
На смерть друг друга. Вдруг нас всех убьет,
Когда взорвет
Пороховой склад
Сороковой год.

21 ИЮНЯ

Тот день в году, когда летает
над всей Москвой крылатый пух
и, белый словно белый снег, не тает.

Тот самый длинный день в году,
тот самый долгий, самый лучший,
когда плохого я не жду.

Тот самый синий, голубой,
когда близки и достижимы
успех, и дружба, и любовь.

Не проходи, продлись, помедли,
прости неспешные часы.
Дай посмотреть твои красы,

полюбоваться, насладиться.
Дай мне испить твоей водицы,
прозрачной, ключевой, живой.

Пусть пух взлетевший — не садится.
Пусть день еще, еще продлится.
Пусть солнце долго не садится.
Пусть не заходит над Москвой.

* * *

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой,
Чтоб излагать с достойной прямою
Ее приказов формулы простые.
Я был политраблотником. Три года:
Сорок второй и два еще потом.

Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад

в бою,

Перед голодными,
перед холодными.
Голодный и холодный.

Так!

Стою.

Им хлеб не выдан, им патрон недодано,
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.

Все то, что в письмах им писали из дому,
Все то, что в песнях с их судьбой сплелось,
Все это снова, заново и сызнова
Коротким словом — Родина — звалось.

Я этот день,
Воспоминанье это,
Как справку,

собираюсь предъявить

Затем,

чтоб в новой должности — поэта

От имени России

говорить.

СОЛДАТСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Солдаты говорят о бомбах.
И об осколочном железе.
Они не говорят о смерти:
Она им в голову не лезет.

Солдаты вспоминают хату.
Во сне трясут жену как грушу.
А родину — не вспоминают:
Она и так вонзилась в душу.

ДОРОГА

Сорокаградусный мороз.
Пайковый спирт давно замерз,
И сорок два законных грамма
Нам выдают сухим пайком.
Обледенелым языком
Толку его во рту
упрямо.

Вокруг Можайска — ни избы:
Печей нелепые столбы
И обгорелые деревья.

Все — сожжено.
В снегу по грудь
Идем.
Вдали горят деревни:
Враги нам освещают путь.

Ночных пожаров полукруг
Багровит Север, Запад, Юг,
Зато дорогу освещает.
С тех пор и до сих пор
она
Пожаром тем освещена:
Он в этих строчках догорает.

ПЕРЕД ВЕШАНИЕМ

Вот съехал странный грузовик
На вздрогнувшую передовую.
Свою осанку трудовую
Он в боевых местах воздвиг.

Передовая смущена
Его трубой и ящиком.
Еще не видела она
Таких машин образчика.

К шоферу подошел солдат
И вежливо спросил шофера:
— Что ваши люди здесь хотят?
Уедут скоро? Иль нескоро?

Но, обрывая их беседу,
Вдруг
 рявкнула
 труба,
От правого до левого соседа
Всю тишину дробя, рубя, губя.

Она сперва, как лектор, кашлянула,
Потом запела, как артист,
В азарте рвения дурашливого
Зашедший к смерти — погостить.

У нас была одна пластинка —
Прелестный вальс «Родной Дунай».
Бывало, техник спросил тихо:
«Давать Дунай?» — «Дунай? Давай!»

И — километра три — по фронту,
И — километров пять — вперед
Солдат, зольдатов, взводы, роты
Пластинка за душу берет.

У немцев души перепрели,
Но вальс имел такие трели,
Что мог и это превозмочь...

И музыка венчала ночь
Своей блистательной короной —
Всей лирикой непокоренной,
Всем тем, о чем мы видим сны,
Всем тем, что было до войны.

Ах, немцы, сукины сыны!
Чего им, спрашивается, надо?
И кто их, спрашивается, звал?

На ползвучании рулады
Я вальс

«Родной Дунай»

прервал.

* * *

В сорока строках хочу я выразить
Ложную эстетику мою.

...В Пятигорске,
 где-то на краю,
В комнате без выступов и вырезов
С точной вывеской — «Психобольной» —
За плюгавым пологом из ситчика
Пятый год
 сержант
 из динамитчиков
Бредит тишиной.

Интересно, кем он был перед войной!

Я был мальчишкою с душою вещей,
Каких в любой поэзии не счесть.
Сейчас я знаю некоторые вещи
Из тех вещей, что в этом мире есть!
Из всех вещей я знаю вещество
Войны.
 И больше ничего.

Вниз головой по гулкой мостовой
Вслед за собой война меня влачила
И выучила лишь себе самой,
А больше ничему не научила.

Итак,
 в моих ушах расчленена

Лишь надвое:
 война и тишина —
На эти две —
 вся гамма мировая.
Полутонов я не воспринимаю.

Мир многозвучный!
 Встань же предо мной
Всей музыкой своей невероятной!
Заведомо неполно и неверно
Пою тебя войной и тишиной.

* * *

Про безымянных, про полузабытых
И про совсем забытых — навсегда,
Про тайных, засекреченных и скрытых,
Про мертвых, про сожженных и убитых,
Про вечных, как огонь или вода,

Я буду говорить, быть может, годы,
Настаивать, твердить и повторять.
Но знаю — списки рядовых свободы
Не переворошить, не исчерпать.

Иная вечность — им не суждена.
Другого долголетия им не будет.
Надев штампованные ордена,
Идут на смерть простые эти люди.

ГОРА

Ни тучки. С утра — погода.
И значит, снова тревоги.
Октябрь сорок первого года.
Неспешно плывем по Волге —
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке литровку.
Радио, черное блюдце,
Тоскливо рычит несчастья:
Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли,
Глотку сжимает ворот.
Все мы стихли,

примолкли.

Но — подплывает город.
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем.
Здесь погрузим продукты.
Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, добро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.

К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же не убывала
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра.
Без жалости и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Покуда солдата с тыла
Ржаная гора обстала,
В нем кровь еще не остыла,
Рука его не устала.
Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караваи
И громоздят их — до неба!

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
 вот здесь
 безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
 слов
 строки.

Здесь
 ставший клубом
 бывший сельский храм —
Лежим
 под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
 Здесь
 ад
 ревмя
 ревет!
На глиняном истоптанном полу
Томится пленный,
 раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
на приземистом топчане
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом — как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
Не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
гладит гимнастерку
И плачет,
плачет,
плачет
горько,
Что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,
Лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
Уносит прочь, в какой-то дальний зал,
Чтобы он
своею смертью черной
Комбата светлой смерти не смущал.

И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют воины:
— Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!

Рассвет. И видит во сне сержант:
Гитлер! Вот он, к стене прижат!
Залп. Гитлер падает у стены.
(Утром самые сладкие сны.)
Рассвет — это значит:

раз — свет!

Два — свет!

Три — свет!

Во имя света всей земли

По темноте — пли!

Солнце!

Всеми лучами грянь!

Ветер!

Суши росу!

...Ах, какая бывает рань
В прифронтовом лесу.

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

ЗАДАЧА

— Подобрать троих для операции!
Вызвалось пятнадцать человек.
Как тут быть,
на что тут опираться?
Ошибешься — не простят вовек.
Офицер из отделенья кадров,
До раненья ротный политрук,
Посадил охотников под карту
И не сводит глаз с дубленых рук.
Вот сидят они,
двадцатилетние,
Теребят свои пилотки летние
В зимних,
в обмороженных руках.
Что прочтешь в опущенных глазах?
Вот сидят они,
благоразумные,
Тихие и смиренные сверх смет,
Выбравшие
верную, обдуманную,
Многое решающую
смерть.
Ихние родители
не спрошены,
Ихние пороки
не запрошены,
Неизвестны ихние дела.
Ихние анкеты потревожены.

Вот и все. Лежат в углу стола.
Сведения.
Сведения.
Сведения —
Куцые — на краешке стола.
О наука человековедения!
Твой размах не свыше ремесла.
Как тут быть,
 на что тут опираться,
Если три часа до операции?

Он шел и шел за наступлением
И ждал без всякого волнения
Допроса,

а затем обеда,
Справку
загодя
показывая.

До самой итальянской родины
Дорога минами испорчена.
За каждый шаг,
им к дому пройденный,

Сполна
солдатской кровью
плочено.

Он шел по танковому следу,
Прикрыт броней.
Без остановки.

Шел от допроса до обеда
И от обеда до ночевки.

Чернявый,
маленький,
хорошенький,

Приятный,
вежливый,
старательный,

Весь, как воробышек, взъерошенный,
В любой работе очень тщательный:

Колол дрова для поваров,
Толкал машины — будь здоров! —
И плакал горькими слезами,
Закапывая мертвецов.

Ты помнишь их глаза,
усталые,

Пустые,
как пустые комнаты?

ГОЛОС ДРУГА

Памяти поэта

Михаила Кульчицкого

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать.
Но — нехорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава»,—
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотях?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

БУХАРЕСТ

Капитан уехал за женой
В тихий городок освобожденный,
В маленький, запущенный, ржаной,
В деревянный, а теперь сожженный.

На прощанье допоздна сидели,
Карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.

Раньше месяца на три недели
Капитан вернулся — без жены.

Пироги, что повара пекли —
Выбросить велит он поскорее,
И меняет мятые рубли
На хрустящие, как сахар, леи.

Белый снег валит над Бухарестом.
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек расспрашивая,
Ищет он, шатаясь день-деньской,
Русую или хотя бы крашеную,
Но глаза, чтоб серые, с тоской.

Русая или, скорее, крашеная
Понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают — вперед.
Вздрагивая, девушка берет.

На спине гостиничной кровати
Голый, словно банщик, купидон.

— Раздевайтесь. Глаз не закрывайте,—
Говорит понуро капитан.

— Так ложитесь. Руки — так сложите.
Голову на руки положите.

— Русский понимаешь? — Мало очень.

— Очень мало — вот как говорят.

Черные испуганные очи

Из-под черной челки не глядят.

— Мы сейчас обсудим все толково.

Если не поймете — не беда.

Ваше дело — не забыть два слова:

Слово «нет» и слово «никогда».

Что я ни спрошу у вас, в ответ

Говорите: «никогда» и «нет».

Белый снег всю ночь валом валит,

Только на рассвете затихает.

Слышно, как газеты выкликают

Под окном горластый инвалид.

Слишком любопытный половой,

Приникая к щелке головой,

Снова,

Снова,

Снова

слышит ворох

Всяких звуков, шарканье и шорох,

Возгласы, названия газет

И слова, не разберет которых —

Слово «никогда» и слово «нет».

* * *

Пристальность пытливаю не пряча,
С диким любопытством посмотрел
На меня угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.

Кто я — дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
Или переправлю под прицел?

Кто я — злейший враг иль первый друг
Для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
То ли обойдется вдруг?

Говорит какие-то слова
И в глаза мне смотрит,
Взгляд мой ловит,
Смотрит так, что сердце ломит
И кружится голова.

Говорю какие-то слова
И гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
Дознаваться или же расследовать.

ГОВОРИТ ФОМА

Сегодня я ничему не верю:
Глазам — не верю.
Ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю,
Если на ощупь — все без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные 45-го года,
Стоявшие — руки по швам — на допросе.
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!
— А мне вы верите? — Минута молчанья.
— Господин комиссар, я вам не верю.
Все пропаганда. Весь мир — пропаганда.

...Если бы я превратился в ребенка,
Снова учился в начальной школе,
И мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
Нашел бы эту самую Волгу,
Спустился бы вниз по течению к морю,
Умылся его водой мутноватой
И только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
Я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
Потом — худые соломенные крыши,

Потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
Суровых, серьезных, почти что важных
Гнедых, караковых и буланых,
Молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
А после падали и долго лежали,
Умирили лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Все — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

КУЛЬЧИЦКИЕ — ОТЕЦ И СЫН

В те годы было
слишком мало праздников.
И всех проказников и безобразников
Сажали на неделю под арест,—
Чтоб не мешали Октябрю и Маю.
Я соблезную, но понимаю:
Они несли не слишком тяжкий крест.

Офицерье, хулиганье,
Империи осколки и рванье,
Все социально чуждые и часть
(далекая)
социально близких,
Означенная в утвержденных списках,
Без разговоров отправлялась в часть.

Кульчицкий — сын
по праздникам шагал
В колоннах пионеров. Присягал
На верность существующему строю.
Отец Кульчицкого — наоборот: сидел
В тюрьме, и угрюмел, и седел.—
Супец — на первое, похлебка — на
второе.

В четвертый мая день (примерно) и
Девятый — ноября
в кругу семьи
Кульчицкие обычно собирались.
Какой шел между ними разговор?
Тогда не знал, не знаю до сих пор,
О чем в семье Кульчицких
препирались.

Отец Кульчицкого был грустен, сед,
В какой-то ветхий казакин одет.
Кавалериста, ротмистра, гвардейца,
Защитника дуэлей, шпор певца
Не мог я разглядеть в чертах отца,
Как ни пытался вдуматься,
вглядеться.
Кульчицкий Михаил был крепко сбит,
И странная среда, угрюмый быт
Не вытравила в нем, как ни травила,
Азарт, комсомолятину его,
По сути не задела ничего.
Ни капельки не охладила пыла.

Наверно, яма велика войны!
Ведь уместились в ней отцы, сыны,
Осталось также место внукам, дедам.
Способствуя отечества победам,
Отец — в гестапо и на фронте — сын
Погибли. Больше не было мужчин

В семье Кульчицких... Видно, велика
Россия, потому что на века
Раскинулась.

И кто ее охватит?
Да, каждому,
покуда он живой.
Хватает русских звезд над головой.
И места
мертвому
в земле российской хватит.

КОГДА МЫ ПРИШЛИ В ЕВРОПУ

1

Когда мы пришли в Европу,
Нам были чудны и странны
Короткие расстоянья,
Уютные малые страны.
Державу проедешь за день!
Пешком пройдешь за неделю!
А мы привыкли к другому
И всё глядели, глядели...
Не полки, а кресла в вагонах,
Не спали здесь, а сидели.
А мы привыкли к другому
И всё глядели, глядели...
И вспомнить нам было странно
Таежные гулкие реки,
Похожие на океаны,
И путь из варягов в греки.
И как далеко-далёко
От Львова до Владивостока,
И мы входили в Европу,
Как море
 в каналы вступает.
И заливали окопы,
А враг — бежит,
 отступает.
И негде ему укрыться
И некогда остановиться.

Русские имена у греков,
Русские фамилии у болгар.
В тени платанов, в тени орехов
нас охранял, нам помогал
Общий для островов Курильских
И для Эгейских островов
Четко написанный на кириллице
Дымно-багровый, цвета костров,
Давний-давний, древний-древний,
Православной олифой икон —
Нашей общности старый закон.
Скажем, шофер въезжает в Софию,
Проехав тысячу заграниц.
Сразу его обступает стихия:
С вывесок, с газетных страниц,
В возгласах любого прохожего,
Стихия родного, очень похожего,
Точнее, двоюродного языка.
И даль уже не так далека,
И хочется замешаться в толпу
И каждому, словно личному другу,
Даже буржую, даже попу
Долго и смачно трясти руку.
Но справа и слева заводы гудят,
Напоминая снова и снова
Про русское слово «пролетариат»,
Про коммунизм (тоже русское слово).
И классовой битвы крутые законы
Становятся сразу намного ясней:
Рабочего братства юные корни
Крепче братства словесных корней.

О, если б они провидели,
О, если бы знать могли,
Властители и правители,
Хозяева этой земли!
Они бы роздали злато,
Пожертвовали серебром
И выписались из богатых —
Сами ушли бы, добром.
Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.
И вот затухают классы,
Как на ветру — свеча,
И трубные радиогласы
Гласят про смерть богача.
И режут быков румынских
Румынские кулаки,
И талеров полные миски
Закапывают у реки.

А я гляжу, на Балканах,
Как тащит сердитый народ
За шиворот, словно пьяных,
Кумиры былых господ.
Сперва на них петлю набрасывают,
Потом их влечат трактора,
Потом их в канавы сбрасывают
Под общие крики «Ура!»

О, если б они провидели,
О, если бы знать могли,

Властители и правители,
Князья, цари, короли!
Они бы из статуй медных
Наделали б медных котлов
И каши сварили для бедных —
Мол, ешьте без лишних слов.

Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.

4

Над входом —
Краткое объявление:
«Народом
Данное
 помещение
Для всех буржуев
Окрестных мест.
Свобода, справедливость, месть!»

Крутые яйца
Буржуи жрали,
Как на вокзале,
В транзитном зале.
В подвале тесно и — жара.
Хрустит яичная кожура!

Буржуи ждали
Прихода судей,
Решенья судеб
И в нервном зуде
Чесались, словно

Им всем невмочь.
И жрали ровно
Два дня и ночь.

Их партизаны
Не обижали,
Следили, чтобы
Не убежали.
Давали воду
И сигареты
И заставляли
Читать газеты.

А те в молчаньи
Статьям внимали,
Потом в отчаяньи
Руки ломали.
Все понимали,
Как полагается,
И снова жрали
Крутые яйца.

Потом из центра
Пришла бумажка
С политоценкой
Этой промашки:
«Буржуазию
Города Плевны
Немедля выпустить
Из плена!»

И, яйца на ходу свежюя,
Рванулись по домам буржуи.

* * *

Воссоздать сумею ли, смогу
Образ человека на снегу?
Он лежит, обеими руками
Провод,
 два конца его схватив,
Собственной судьбой соединив
Пустоту, молчание, разрыв,
Тишину
Между двумя кусками.

Пулемет над головою бьет,
Слабый снег под гимнастеркой тает...
Только он не встанет, не уйдет,
Провода не бросит, не оставит.

Мат старшин идет через него,
И телефонистку соблазняют...
Больше — ничего.
Он лежит.
Он ничего не знает.

Знает! Бьет, что колокол, озноб,
Судорога мучает и корчит.
Снова он застыл, как сноп, как гроб.
Встать не хочет.

Дотерпеть бы! Лишь бы долежать!..
Дотерпел! Дождался! Долежался!
В роты боевой приказ добрался.
Можно умирать — или вставать.

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ

(Рассказ)

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я сэкономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши
Вы, спички-палочки (так это называлось),
Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
 раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерть!
Не уставай! Потей
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта
Сорок второго,
 утром на заре
Под звуки переливчатого мата
Ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположение сил
И то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребенком,

Сказал,
хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он сплясал.
Без лести,
От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
И дунул вальс про голубой Дунай:
Такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,
Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.

Мне — что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
что на гармошке
вальс крутил.

СОЛДАТАМ 1941-го

Вы сделали все, что могли.

(Из песни)

Когда отступает пехота,
Сраженья (на время отхода)
Ее арьергарды дают.
И гибнут хорошие кадры,
Зачисленные в арьергарды,
И песни при этом поют.

Мы пели: «Вы жертвою пали»,
И с детства нам в душу запали
Слова о борьбе роковой.
Какая она, роковая?
Такая она, таковая,
Что вряд ли вернешься живой.

Да, сделали все, что могли мы.
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый — убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

РККА

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
Отступавшую спокойно, здорово,
Наступавшую толково, —
Я застал в июле сорок первого,
Но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше — были срублены
Года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
Гордое именованье: Красная,
Лжа не замарала и напраслина,
С кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
Нас — зеленых, глупых, необстрелянных —
Обучали воевать и выучили.
Помню их, железных и уверенных.
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежавышедших
Из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
Переживших Колыму и выживших,
Почестей не ждущих —
Ждущих смерти или же победы,
Смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
Были, отложившие обиды
До конца войны,
Этой самой РККА сыны.

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА

Я заслужил признательность Италии,
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Пленных на Дону и на Донце,
Некормленных, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны.
Она была не для большой войны.

Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова, и вовсе не остыл.
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку — бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!

^ бабу — разобрали по куску.

* * *

Земля, земля — вдова солдата.
Солдат — погиб. Земля живет.
Живет, как и тогда когда-то,
И слезы вод подземных льет.

Земля солдата полюбила.
Он молод был и был красив.
И спать с собою положила
Под тихим шелестеньем ив.

А то, что ивы шелестели,
Любились они пока,
Земля с солдатом не хотели
Понять. Их ночь была кратка.

Предутренней артподготовкой,
Что затянулась до утра,
Взметен солдат с его винтовкой
И разнесли его ветра.

Солдат погиб. Земля осталась.
Вдова солдатская жива.
И, утешать ее пытаясь,
Ей что-то шелестит трава.

Еще не раз, не раз, а много,
А много, много, много раз
К тебе придут солдаты снова.
Не плачь и слез не лей из глаз.

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабушку?
Мою бабушку убивали так:
утром к зданию горбанка
подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
легкие
от годовалого голода
бледные
от предсмертной тоски,
пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
бодро теснили старух, стариков
и повели, котелками бряцая,
за город повели,
далеко.

А бабушка, маленькая, словно атом,
семидесятилетняя бабушка моя
крыла немцев,
ругала матом,
кричала немцам о том, где я.
Она кричала: «Мой внук на фронте,
вы только посмейте,
только троньте!
Слышите,
наша пальба слышна!»

Бабушка плакала, и кричала,
и шла,
опять начинала сначала
кричать.

Из каждого окна
шумели Ивановны и Андреевны,
плакали Сидоровны и Петровны:
«Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно!»
Они шумели:

«Ой, що робыць
з отым нимцем, нашим ворогом!»
Поэтому бабку решили убить,
пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
и бабка наземь упала.
Так она и пропала.

1942

Не естся хлеб, и песни не поются.
В душе, во рту, в глазах — одна тоска.
Все кажется — знамена революции
Без ветерка срываются с древка.
Сентябрь. И немцы лезут к Сталинграду.
А я сижу под Ржевом и ропщу
На все. И сердце ничему не радо —
Ни ордену, ни вёдру, ни борщу.
Через передовую — тишина.
Наверное, немец спит после обеда.
А я жую остывший ком пшена
И стыдно есть — задаром, без победы.

ВЕДРО МЕРТВЕЦКОЙ ВОДКИ

...Паек и водка.
Водки полагалось
сто грамм на человека.
Итак, паек и водка
выписывались старшие
на списочный состав,
на всех, кто жил и потому нуждался
в пайке и водке
для жизни и для боя.
Всем хотелось съесть
положенный паек
и выпить
положенную водку
до боя,
хотя старшины
распространяли слух,
что при раненьи
в живот
умрет скорее тот, кто съел паек.

Все то, что причиталось мертвецу
и не было востребовано им
при жизни,—
шло старшинам.
Поэтому ночами, после боя,
старшины пили.
По должности, по званию и по
веселому характеру
я мог бы
рассчитывать на приглашение
в землянку, где происходили
старшинские пиры.

Но после боя
очень страшно
слышать то, что говорят старшины,
считая мертвецов и умножая
их цифру на сто,
потому что водки
шло по сто грамм на человека.

...До сих пор
яснее голова
на то ведро
мертвецкой водки,
которую я не распил
в старшинском
блиндажике
зимой сорок второго года.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛЕ КОГАНЕ

Разрыв-травой, травую повиликой

.....
*мы прорастем по горькой, по великой
по нашей кровью политой земле.*

(Из несохранившегося стихотворения
Павла Когана)

Павел Коган, это имя
уложилось в две стопы хоря.
Больше ни во что не уложилось.

Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.

Вылезала и торчала
с гневными веселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.

Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
гордый, словно Польша,—
это почитал он за пустяк.

Вечно преждевременный, навечно
довременный и послевременный Павел
не был своевременным, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.

Мало он ценил все то, что ценим,
мало уважал, что уважаем.
Почему-то стал он этим ценен
и за это обожаем.
Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припомню...

В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначенье
новое, на фронт,— не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.

Ничего не помню, кроме сводок.
Бархатистый голос,
годный для приказов о победах,
сладостно вещал о пораженьях.
Государственная глотка
объявляла горе государству.
Помню список сданных нами градусов,
княжеских, тысячелетних...

В это время встретились мы с Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.

...Он писал мне с фронта что-то вроде:
«Как лингвист, я пропадаю:
полное отсутствие объектов».

Не было объектов, то есть пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.

Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.
До сих пор мне неизвестно,
сколько языков он приволок.
До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка
Павла Когана убило.
В сумрачный и зябкий день декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал по почте
все меню московских телефонов.

Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщала:
«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из Багрицкого:
«...Когана убило».

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду.— Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое население
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал,
как насос, высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.

Это все исполнялось прытко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.

А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

* * *

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

ТРИДЦАТКИ

Вся армия Андерса — с семьями,
с женами и с детьми,
сомненьями и опасеньями
гонимая, как плетьюи,
грузилась в Красноводске
на старенькие суда,
и шла эта перевозка,
печальная, как беда.

Лились людские потоки,
стремясь излиться скорей.
Шли избранные потомки
их выборных королей
и шляхтичей, что на сейме
на компромиссы не шли,
а также бедные семьи,
несчастные семьи шли.

Желая вовеки больше
не видеть нашей земли,
прекрасные жены Польши
с детьми прелестными шли.
Пленительные полячки!
В совсем недавние дни
как поварихи и прачки
использовались они.

Скорее, скорее, скорее!
Как пену несла река
еврея-брадобрея,
буржуя и кулака,
и все гудки с пароходов
не прекращали гул,

чтоб каждый из пешеходов
скорее к мосткам шагнул.

Поевши холодной каши,
болея тихонько душой,
молча смотрели наши
на этот исход чужой,
и было жалко поляков,
детей особенно жаль,
но жребий не одинаков,
не высказана печаль.

Мне видится и сегодня
то, что я видел вчера:
вот восходят на сходни
худые офицера,
выхватывают из кармана
тридцатки и тут же рвут,
и розовые
за кормами
тридцатки
плывут, плывут.

О, мне не сказали больше,
сказать бы могла едва
все три раздела Польши,
восстания польских два,
чем
в радужных волнах мазута
тридцаток рваных клочки,
покуда раздета, разута,
и поправляя очки,
и кутаясь во рванину,
и женщин пуская вперед,
шла польская лавина
на английский пароход.

СЕБАСТЬЯН

Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем,
мне известным уже три месяца
Себастьяном Барбье.
На ничейной земле, в проломе
замка старого, на соломе,
в обгорелом лежим тряпье.

До того мы оба устали,
что анкеты наши — детали
незначительные в той большой,
в той инстанции грандиозной,
окончательной и серьезной,
что зовется судьбой и душой.

До того мы устали оба,
от сугроба и до сугроба
целый день пробродив напролет,
до того мы с ним утомились,
что пришли и сразу свалились.
Я прилег. Он рядом прилег.

Верю я его антифашизму
или нет — ни силы, ни жизни
ни на что. Только б спать и спать.
Я проснусь. Я вскочу среди ночи —
Себастьян храпит что есть мочи.
Я заваливаюсь опять.

Я немедленно спасть заваливаюсь.
Тотчас в сон глубокий проваливаюсь.
Сон — о Дне Победы, где, пьян
от вина и от счастья полного,
до полуночи, да, до полночи
он ликует со мной. Себастьян.

В САМОМ КОНЦЕ ВОЙНЫ

Смерть стояла третьей лишней
рядом с каждым двумя
или же четвертой лишней
рядом с каждым тремя.

До чего к ней все привыкли?
До того к ней все привыкли,
что, когда она ушла,
я сказал: «Ну и дела!

Что же делать буду я
без нее, в углу молчащей,
заходящей в гости чаще,
чем родные и друзья».

Угол пуст. Ответа нет.
Буду жить теперь иначе,
в этом мире что-то знача,
даже если смерти нет.

В бытии себя упроча,
надо вверх идти, вперед,
хоть со смертью было проще,
было менее забот.

* * *

Какую войну мы выиграли
в сорок пятом году!
Большая была и долгая.
А мы ее все-таки выиграли.
Какую мы в сорок пятом
преодолели беду!
Какую судьбу мы выбрали!

Мы были достаточно молоды,
чтоб выйти из этой войны
здоровыми и веселыми,
целинниками — для целины,
новгородов — новоселами
и сызнова не убояться
ни голода, ни холода.

И прóжив жизнь военную,
мы новую, мирную жизнь,
вторую, вы только подумайте,
кое-кто даже третью,
и начали и продолжили,
пройдя сквозь все рубежи
сперва в середине, а позже
на склоне такого столетья!
Двадцатого столетья!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп

из родимой Алма-Аты!

Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.

А впрочем,

я никогда не поверю,—

что эти верблюды действительно звери.

Достоин иного прозванья верблюд.

Дивизия шла на верблюжьей тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смиренные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре
но всех перебили,

и только четыре

до горного города Граца дошли.

А сколько добра привезли они людям!

Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,

никогда

не забудем

верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величьи,
в каком-то прискорбьи,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды
проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбьи.
Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.

Трамвай потревожить верблюда не смеет.
Неспешность

приходится

извинить.

Трамвай не решается позвонить.

Целая очередь грацких трамваев
стоит,

если тянется морда к кустам,
стоит,

пока по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.

9 МАЯ

Замполит батальона энского,
капитан Моторов Гурьян,
от бифштекса, от деревенского,
от вина цимлянского — пьян,

он сидит с расстегнутым воротом
над огромным и добрым городом,
над столицей своей, Москвой:
добрый, маленький и живой.

Рестораны не растеряли
довоенной своей красоты.
Все салфетки порасстилали,
вилки, ложки понесли.

Хорошо на душе Моторову,
даже раны его не томят.
Ловко, ладно, удобно, здорово:
ест салат, заказал томат.

Сколько лет не пробовал сока,
только с водки бывал он пьян.
Хорошо он сидит, высоко.
Высоко забрался Гурьян.

* * *

В тот день, когда окончилась война,
вдруг оказалось: эта строчка — ямбы,—
хоть никогда не догадался я бы,
что будет метр стиха иметь она.

Я полагал: метр вздоха и метр крика.
Я думал: метр обвала тишины,—
но оказалось — строчками должны,
стихами становиться эти звуки.

Гремевшая, дабы переорать
смертельного передвиженья груза,
стократ громчей
загрохотала муза,
закончив бой
и завершивши рать.

Поэзией надежда быть должна,
не жить ей без лирического пыла.
Что ж, оказалось, это ямбом было:
в тот-день-ко-гда-о-кон-чит-ся-вой-на.

В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые — спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.

Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета —
Пылает солнце, не жалея сил.
Над сорока миллионами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.

* * *

Не безымянный, а безы́менный —
Спросить никто не догадался,—
Какой-то городок бузиновый
В каком-то дальнем государстве,
Какой-то черепично-розовый,
Какой-то пурпурно-кирпичный,
Случайный городишко, бросовый,
Райцентр какой-то заграничный.
В коротеньких штанишках бюргеры
И девушки в шляпках фетровых
Приветствия тоскливо буркали
И думали — они приветливы.
Победе нашей дела не было
До их беды, до их злосчастия.
Чего там разбираться — нечего:
Ведь нам сюда не возвращаться.
А если мы берем в Германии —
Они в России больше брали.
И нас, четырежды пораненных,
За это упрекнул едва ли.

* * *

Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только дураки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода —
Помнить все страдания. До дна.
А война — была.
Четыре года.
Долгая была война.

МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не золото-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.

На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.
Идут неслышной поступью,
Торжественно молчат:

Смежив глаза суровые,
Здесь,
 рядом,
 дети спят.

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.
А вдова Ковалева все помнит о нем,
И дорожки от слез — это память о нем,
Столько лет не забудет никак!
И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.
Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету спиной,
Но бессменно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцеви́тый стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острою.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.

ОДНОФАМИЛЕЦ

В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.

А той травой могила поросла,
А та могила называлась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.

Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник хранит,
Предстали пред глазами пред моими.

Все буквы — семь — сходились у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной светились.

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал,
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
 как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
 спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
 война
 и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
 матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
 занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
 забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянную стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?

В той бане
 парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

* * *

У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах,—
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке,—
О том, о чем за водкой говорят!

Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Вообразать все люстры ресторана
Московского!

В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.
Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.

Официант нес пиво и жаркое
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —
что такое? —

О том, как мы в блиндажике сидим,
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит орудийный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.

О счастье в мелочах. Не в основном.

ПРО ЕВРЕЕВ

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

ПЕСНЯ

На перекрестке пел калека.

Д. Самойлов

Ползет обрубок по асфальту,
Какой-то шар,
Какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
Простуженнейшим голоском.

Что он поет,
К кому взывает
И обращается к кому;
Покуда улица зевает?
Она привыкла ко всему.

— Сам — инвалид.
Сам — второй группы.
Сам — только год пришел с войны.—
Но с ним решили слишком грубо,
С людьми так делать не должны.

Поет он мысли основные
И чувства главные поет,
О том, что времена иные,
Другая эра настает.

Поет калека, что эпоха
Такая новая пришла,
Что никому не будет плохо,
И не оставят в мире зла.

И обижать не будут снохи,
И больше пенсию дадут,
И все отрубленные ноги
Сами собою прирастут.

ТЕРПЕНЬЕ

Сталин взял бокал вина
(Может быть, стаканчик коньяка),
Поднял тост — и мысль его должна
Сохраниться на века:
За терпенье!

Это был не просто тост
(Здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
Великанам воздавал малец
За терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
А за то, что в них терпенье есть.

«Вытерпели вы меня», — сказал
Вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.

Страстотерпцы выпили за страсть,
Выпили и закусили власть.

* * *

Человечество делится на две команды.
На команду «смирно»
И команду «вольно».
Никакие судьбы и военкоматы,
Никакие четырехлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного —
Только свободы.

* * *

Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны,

Господствовала прямота,
И вскользь сообщалось людям,
Что заняты ваши места
И освобождать их не будем.

А звания ваши, и чин,
И все ордена, и медали,
Конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
К обузам его и одеждам,
Я слабою женской рукой
Обласкан был и обнадёжен.

Я вдруг ощутил на себе
То черный, то синий, то серый,
Смотревший с надеждой и верой
Взор.

И перемену судьбе

Пророчествовали и гласили
Не опыт мой и не закон,
А взгляд —
И один только он —
То карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
Они к небесам увлекали,
И выжить они помогли —
То синий, то серый, то карий.

Их полумертвыми
и полупьяными
Поволокли
приканчивать
в подвал.

Зато теперь,
героям в награждение,
Иных имен
отвергнувши права,
Иваном называет при рождении
Каждого четвертого
Москва.

КАК Я СНОВА
НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ

Как ручные часы — всегда с тобой,
Тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль,
Боль, боль — не могу.

Слабая боль головная,
Тихая, затухающая,
Словно тропа лесная,
Прелью благоухающая.
Скромная боль, невидная,
Словно дождинка летняя,
Словно девица на выданьи,
Тридцати — с чем-нибудь — летняя.

Я с ней просыпался,
С ней засыпал,
Видел ее во сне,
Ее сыпучий песок засыпал
Пути-дорожки

мне.

И вот головной тик — стих,
Тряхнуть стариной.
И вдруг головной тик — стих,
Что-то случилось со мной.

Помню, как ранило: по плечу
Хлопнуло.

Наземь лечу.

А это — как рана наоборот,
Как будто зажило вдруг:

Падаешь вверх,
Отступаешь вперед
В сладостный испуг.

Спасибо же вам, стихи мои,
За то, что, когда пришла беда,
Вы были мне вместо семьи,
Вместо любви, вместо труда.
Спасибо, что прощали меня,
Как бы плохо вас ни писал,
В тот год, когда, выйдя из огня,
Я от последствий себя спасал.
Спасибо вам, мои врачи,
За то, что я не замолк, не стих.
Теперь я здоров! Теперь — ворчи,
Если я чем совру,
мой стих.

* * *

А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько.
Она скрипит, как инвалиду — койка.
Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.

А до войны? Да, юность, пустяки.
А после? После — перезрелость, старость.
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки.

Война? Она запомнилась по дням.
Все прочее? Оно — по пятилеткам.
Война ударом сабли метким
навек развалила сердце нам.

Все прочее же? Было ли оно?
И я гляжу неузнающим взглядом.
Мое вчера прошло уже давно.
Моя война еще стреляет рядом.

Конечно, это срыв, и перебор,
и крик,
и остается между нами.
Но все-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая читателю книга выдающегося поэта послевоенной России Бориса Слуцкого (1919—1986) включает прозу и стихи о войне. Такой состав книги обусловлен двумя обстоятельствами. Без стихов поэта книга, издание которой приурочено к 55-й годовщине Победы, лишила бы современного читателя представления о том большом вкладе, который внес в русскую поэзию о Великой Отечественной войне Борис Слуцкий. Вместе с тем, знакомство с его военной прозой существенно дополнит представление о Слуцком, как о писателе, которому доступны различные формы выражения своего художнического дара.

Проза и стихи Бориса Слуцкого разворачивают перед нами картину жизни и борьбы народа в самый драматичный период нашей истории, а их автор предстает перед читателем не как бесстрастный летописец, но как активный участник героических и трагических событий.

До начала 90-х годов Борис Слуцкий не был известен как прозаик. Только в 1991 году читатели могли познакомиться с автобиографической прозой поэта в небольшой книжке «О других и о себе», изданной библиотекой «Огонька». Выходу в свет этой интересной книжки, как и тому, что до читателей дошли сотни неопубликованных при жизни поэта стихов, мы обязаны первому посмертному публикатору литературного наследия Бориса Слуцкого Юрию Леонгардовичу Болдыреву. Но разрозненные прижизненные публикации очерков и небольшая книжка «Огонька» не коснулись наиболее объемной и значительной работы в прозе — «Записок о войне». Только в 1995 году

в преддверии 50-летия Победы удалось фрагментарно опубликовать часть «Записок». Сейчас читатель имеет возможность ознакомиться с этой работой Бориса Слуцкого в полном объеме.

«Записки» охватывают боевой путь поэта от сражений под Москвой, где он был тяжело ранен, до поверженной Вены.

Война застала Бориса Слуцкого в Москве студентом двух институтов — Литературного института Союза писателей и Московского юридического. Одним из первых среди своих литературных и юридических сокурсников он ушел на фронт, даже не завершив сдачи выпускных экзаменов. Военюрист по военно-учетной специальности, Слуцкий начал службу в дивизионной прокуратуре. В сентябрьском письме 1941 года из свердловского госпиталя Борис писал мне, впрочем не без иронии: «Дослужусь до армвоенюриста, буду судить Гитлера и подам голос за смерть». Но в должности дивизионного следователя пробыл недолго, карьеры военюриста не сделал. В октябре 1942 года он навсегда оставит военную юриспруденцию. Вскоре Слуцкий писал мне: «Я начал службу с начала. Получил гвардии лейтенанта (не юридической службы) и ушел на политработу. Замкомбатствовал. Сейчас инструктор политотдела дивизии». В стихах, написанных после войны, но опубликованных посмертно, он объяснял:

*...Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше шикого судить не буду.
Хорошо быть не возждем, а массой.*

*Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей?*

Футбольным..

Он не только не считал возможным судить других, но и напрочь отметал всякую возможность для себя легких путей на опасных дорогах войны.

В конце 1943 года служебное положение Слуцкого изменилось. Его способности и эрудиция, успешная работа в частях дивизии были замечены начальством. В январском письме 1944 года он писал: «Сейчас на руководящей работе в одной экзотической, романтической, казавшейся мне интересной должности». И снова в другом письме: «Гвардии капитан (пехоты, а не юстиции). На политработе на одной из самых острых интересных отраслей». Несмотря на эзоповский язык письма, мне нетрудно было догадаться, что это за «одна из самых острых интересных отраслей» — работа в 7-м отделении политотдела армии по разложению войск противника. В последующем эта догадка подтвердилась.

Хотя Слуцкий на новом месте был необходим и полезен для дела, его самого новое положение не удовлетворяло. В письмах он не единожды писал, что предпринимает шаги к тому, чтобы «занять более пехотное положение». Здесь Слуцкий несправедлив к себе: работа на МГУ (громкоговорящей агитационной установке, смонтированной в автофургоне) была опасна, как всякая деятельность вблизи переднего края. Обычно противник обрушивал на МГУ такой шквал огня, что командиры подразделений, в районе которых «работала» МГУ, просили поскорее убираться и сменить позицию. Так что «более пехотного положения» искать не нужно было. Кстати, факт, что начальство с большим нежеланием демобилизовало Слуцкого через год после окончания войны, и только после госпиталя и признания его инвалидом II группы, свидетельствует о том, что все его хлопоты о переходе на «более пехотное положение» были тщетными.

В оценке человека, близкого к нам по призывному возрасту, для Слуцкого много значило, был ли этот человек на фронте. И для себя он не сделал исключения, когда добровольно пошел в действующую армию в первые дни войны, имея студенческую отсрочку. На войну Слуцкий пошел не как поэт, а как солдат, и занят был на войне — войной.

В письме ко мне в 1944 году писал: «Стихов никаких не пишу два с половиной года... по военно-уважительной причине». Из письма 1945 года: «...стихов не пишу более трех лет... здесь я для всех человек с литературным образованием (критический! факультет Литинститута), и все. Никакой не поэт».

Каким был Борис Слуцкий на фронте, как вел себя в критические моменты, неизбежно выпадающие на долю тех, кто воюет не дальше дивизии первого эшелона? Близко зная Бориса Слуцкого до войны, я представлял его человеком смелым, без особых усилий переносящим трудности фронтового быта, не уклоняющимся от опасных заданий. Не говорю о других качествах — уме, честности, чувстве товарищества, сострадании, которые были присущи ему изначально и которые война раскрывает во всей полноте. В конце 70-х и начале 80-х годов во время болезни Слуцкого я встречался с его фронтовыми товарищами, предлагавшими свою помощь. Все они отзывались о нем, как о мужественном офицере, верном товарище; высоко ценили его профессионализм, эрудицию, находчивость. Вспоминали его остроумие, называли душой их небольшого политотдельского коллектива.

Сохранилось несколько писем Слуцкого к брату, относящихся ко времени наиболее кровопролитных боев на Харьковском направлении весной 1943 года. Даже с учетом желанья успокоить близкого человека относительно грозящих ему лично опасностей, письма свидетельствуют о том, что Слуцкого «мужество не оставило». В письме от 17 марта он писал: «Сегод-

ня 16 марта несколько утихло. Передовая приняла колхозный вид. Две бурных недели прошли без нарушения моей физической целостности. За это время были: марш на one hundred fifty. Two days I was a commissar of separate batalion (лыжный), Battles, рейды, meeting before attacks;* работа по моей специальности». Впоследствии эта «работа по специальности» воплотилась в одно из лучших стихотворений Слуцкого:

*... Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
в бою,
Перед голодными,
перед холодными.
Голодный и холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан,
им патрон недодано,
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.*

28 марта Слуцкий писал брату: «Мы по-прежнему воюем на подступах к реке (Сев. Донец — П. Г.). Бои довольно интенсивные. Постепенно привыкаем к маневренной войне, о которой почти забыли под Гжатском и Ржевом. Держимся хорошо». В письме от 11 апреля, «отчитываясь за прошедшие тридцать пять дней боев», он писал: «Все это время прошло в боях довольно ожесточенных. См., например, о нас сообщение Совинформбюро от 30.3 вечернее» (в сообщении, о котором упоминает Слуцкий, говорится, что

* Марш на сто пятьдесят <километров>. Два дня я был комиссаром батальона (лыжного); бои, рейды, митинги перед атаками...

«наше гвардейское соединение под командованием генерал-майора Тихонова стойко встретило врага и отбило все атаки немцев, поддержанные крупными силами авиации». — П. Г.). Однажды в письме брату Слуцкий заметил: «Инструктора политотдела воюют процентов на 300 пехотнее, чем лица моей прежней профессии».

Портрет Слуцкого-солдата будет неполным, если не отметить присущего ему чувства глубокой гражданской ответственности, понимания того, что победа в этой судьбоносной для страны войне достигается не только усилиями всех, но и вкладом каждого. Войну против фашизма, как большинство наших сверстников, Слуцкий предчувствовал задолго до ее начала и считал не только главным делом поколения, но персональным долгом каждого. Политработа в стрелковом батальоне, окопная жизнь с солдатами на «передке» не мешала ему видеть себя участником грандиозного сражения против фашизма. В одном из писем весны 1943 года он писал: «Думаю, что в третий раз после июля и декабря 1941 года я попал в бои, имеющие *узловое* (подчеркнуто мною. — П. Г.) значение для Отечественной войны». Сегодняшнего читателя, знающего о Курской битве, развернувшейся через несколько месяцев после боев на Северном Донце и ознаменовавшей поворот в войне к нашей победе, слова Слуцкого об узловом значении боев, в которых он принимал участие весной 1943 года, не удивят. Но нужно учитывать, что письмо написано человеком, который ничего не знал о предстоящих летом 1943 года боях под Курском, освобождении Орла и Белгорода, а затем и Харькова, после чего немцы откатились к Днепру и их отчаянное сопротивление ничего уже не могло изменить. Предчувствие, основанное не только на общей и изначальной вере в нашу победу, не подвело поэта. И это ощущение причастности к глобальным событиям помогало Слуцкому

добротню делать «работу по своей специальности» в самых низовых звеньях, а потом, через годы, донести до нас в стихах и прозе.

Можно сказать, что Слуцкому повезло: война его пощадила, и он остался жив. Война его даже обогатила, естественно, не в меркантильном смысле. «При переезде с квартиры на квартиру,— писал Слуцкий после войны,— все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны».

Взгляд на события из окопов переднего края в первые годы войны, участие в сражениях под Москвой и тяжелых оборонительно-наступательных боях 1942—1943 годов, госпиталь, жизнь в самой гуще солдатской, близость к людям, непосредственно добывавшим победу, обогатили Слуцкого впечатлениями, раздумьями, переживаниями. Именно эти опасные и трудные годы сформировали Слуцкого — автора поэтического эпоса Великой Отечественной войны.

С началом зарубежного похода к работе на МГУ прибавилась новая область деятельности — изучение военно-политической обстановки в освобождаемых странах, связь с политическими партиями, общественными и религиозными организациями, подготовка рекомендаций командованию и военной администрации. Здесь Слуцкий обрел новый опыт. В автобиографии, хранящейся в его писательском личном деле, он писал: «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Югославии, Румынии для командования... Писал текст первой шифровки “Политическое положение в Белграде” (20 октября 1944 года). Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы (в том числе, в Белграде и в районе Граца) — вел обычную жизнь политработника».

В эти годы на долю Слуцкого выпало больше «экзотики», чем тем, кто воевал на западных направлениях. Служебное положение не только ввело его в самую гущу военно-политических событий, но и открыло возможности личного знакомства с деятелями различной политической окраски. Ему оказались доступными мемуары белых генералов и либеральных деятелей, осевших в 1920—1930-х годах на Балканах. В поисках стихов и новых поэтических имен Слуцкий перерыл многолетние подшивки эмигрантских журналов.

Сложный и разносторонний опыт войны, от «окопного» до «начальственного», пропущенный через сердце поэта, нашел отражение во всем творчестве Бориса Слуцкого, в том числе и в «Записках о войне», составляющих содержание первой части предлагаемой читателю книги.

«Записки» создавались Слуцким в основном в течение нескольких послевоенных месяцев, что называется на одном дыхании. Написанные талантливым пером зоркого наблюдателя и активного участника событий, по живым воспоминаниям и неостывшим следам войны, без оглядки на неизбежные цензурные трудности, «Записки» сохранили не только колорит времени, но и детали, придающие им несомненную достоверность. Здесь очень выразительно проявилась редкая для поэтов способность Слуцкого передать историческую ситуацию через факт, через бытовую деталь, как заметил по другому поводу Юрий Тынянов, «смотреть на вещи, как на явления».

Впервые Слуцкий познакомил со своей работой самых близких друзей осенью 1945 года, когда приехал в Москву в короткий отпуск из Граца, где продолжал еще оставаться в армии. (Не могу не вспомнить здесь впечатления, которое произвел на меня Борис Слуцкий в тот приезд. Мы не виделись четыре военных года. Хотя его нетрудно было узнать, это был

все же другой человек. Гвардии майор. В кителе он казался стройнее и выше. Форма шла ему. Усы придавали его лицу несвойственную строгость. На правой стороне груди три ордена — Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды, «малый джентльменский набор», как любил говорить Слуцкий. Здесь же нашивка за тяжелое ранение и гвардейский значок. На левой — медали и, предмет особой гордости, болгарский орден «За храбрость». Борис называл его по-болгарски, опуская гласные. Была в нем этакая гвардейская молодцеватость).

Об опубликовании «Записок» тогда, да и в последующие годы, не могло быть и речи — слишком непечатными были страницы этой книги. Это хорошо понимал и автор. Но некоторое число людей в Москве книгу читали. И не только друзья и близкие знакомые. Так, например, Илья Эренбург, знакомство с которым и дружеские отношения у Слуцкого сложились только в 50-е годы, читал книгу в 1945 году. (Интересны высказывания И. Эренбурга о «Записках» в мемуарах «Люди, годы, жизнь»: «С увлечением читал едкую и своеобразную прозу неизвестного мне дотоле Бориса Слуцкого. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор и включил в роман («Буря». — П. Г.). Автором рукописи оказался Слуцкий»*. Хождение рукописи по Москве было опасным. Сразу же после отъезда к месту службы Слуцкий в письме просил меня «...купно с Давидом (Самойловым) и Исааком (Крамовым. — П. Г.) изъять из всякого обращения экземпляры основ, девушек, попов и т. д.». Так, на том этапе была решена участь одного из

* Цит. по ст. Б. Я. Фризинского «Не отзвенело наше дело» // Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 291.

первых «самиздатов». К счастью, друзья сохранили рукопись от «недремлющего ока» (мне известно, что один экземпляр сохранила Елена Ржевская), и «Записки» не разделили участь многих безвестно пропавших мемуаров о Великой Отечественной войне. После смерти Бориса Слуцкого брат поэта оставил экземпляр «Записок» у меня.

В послевоенные годы и вплоть до болезни в конце 70-х годов Слуцкий не обращался к своим «Запискам» и не предпринимал никаких попыток их опубликовать, понимая полную безнадежность. Друзья, знавшие о существовании «Записок», удивлялись тому, что он как бы забыл о них. «Давид Самойлов,— вспоминает вдова поэта Г. Медведева,— в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) <...> часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, <...> сетовал на упорное нежелание Бориса Абрамовича продолжить столь удавшийся опыт».

Так «Записки о войне» не увидели свет при жизни автора.

В «Записках о войне» Борис Слуцкий говорит о войне правду, не всегда лицеприятную, но всегда правду. Он обрел право говорить о войне без прикрас, без лакировки и посчитал это своей обязанностью. В его «Записках» есть страницы, способные вызвать гордость и восхищение мужеством нашего солдата, его выносливостью и терпением, справедливостью и отходчивостью, верой в победу в самых отчаянных обстоятельствах; трагическое соседствует со смешным и комическим. Но немало страниц и эпизодов повествования могут вызвать упреки защитников «чести мундира», особенно тех, кто, по выражению Давида Самойлова, «проливал за Россию не кровь, а чернила». На многое Слуцкий смотрел глазами политработника, представителя партии в войсках. Но он смотрел не только как партиец, но как гума-

нист-демократ. Факты, уязвимые с точки зрения урапатриотов, составляли содержание политдонесений; по ним, в том числе, и по тем, которые писал Слуцкий, принимались решения командованием и военной администрацией освобожденных районов.

Борис Слуцкий называл свои «Записки о войне» «деловой прозой». Думаю, что читатель по достоинству оценит не только документальность, но и художественное мастерство прозы поэта.

Во вторую часть книги включены стихи и баллады Бориса Слуцкого о войне.

Во время войны, делая свое солдатское дело, Слуцкий стихов не писал. (Достоверно известно, со слов самого поэта, что в начале 1944 года он написал «Кельнскую яму», потрясенный судьбой наших военнопленных в фашистских лагерях). И после войны тоже не сразу «пошли» стихи.

«Послевоенные годы вспоминаются серой, нерасчлененной массой, — писал Слуцкий в очерке «После войны». — Точнее, двумя комками. 1946—1948-й, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948—1953-й, когда я постепенно оживал.

Сначала я был инвалидом Отечественной войны, потом непечатающимся поэтом. Очень разные положения.

Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения сил я за месяц сочинил четыре строки, рифмованные. Где они теперь?

Потом за долгие недели — первое с осени 1945 года нескладное стихотворение «Солдаты шли»*. Стихи столкнули меня с дивана.

* Это стихотворение под названием «Солдат и дорога» было опубликовано в 1991 году.

Я ступал на поэтическую сцену, как моряк, вернувшийся из восьмилетнего плавания, что и говорить, земля ходила у меня под ногами»*.

Из довоенных стихотворений в печать попали два широко известных стихотворения — «Инвалиды» и «Генерал Миаха, наблюдающий переход испанскими войсками французской границы»**. Самых первых своих стихов, написанных в Харькове еще в школьные годы, Борис стеснялся (я имею в виду стихи, вызванные пробуждающимся чувством к девушке), читал их неохотно и очень ограниченному кругу самых близких друзей. Стихи не сохранились. Убежден, что в их исчезновении повинен сам автор. Помню несколько отдельных строф из этих стихотворений, но, уважая давнее решение Слуцкого, я их не привожу.

Такая же судьба постигла и первые гражданские стихи, ходившие по рукам харьковской студенческой молодежи. Эти стихи, написанные во второй половине 30-х годов, Борис охотно читал. Запомнились строки одного из наиболее распространенных в те годы стихотворений:

*Я ненавижу рабскую мечту
о коммунизме в виде магазина,
где все дают, рекою льются вина
и на деревьях пончики растут.*

*Не то, не то, не продуктовый рай.
Когда б вся суть лишь в карточках и нормах,
меня любой фашизм к рукам прибрал,
где больше платят и сытнее кормят.*

* «О других и о себе». С. 13, 30.

** Опубликовано в 1989 году.

Борис Слуцкий почти не датировал своих стихотворений. Поэтому не могло быть и речи о публикации стихов в хронологическом порядке. Была избрана последовательность, которую предпочел сам автор в своих прижизненных изданиях.

При подготовке книги к публикации неоценимую помощь мне оказал Н. Л. Елисеев, которому выражаю сердечную признательность.

Петр Горелик

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВЫ

1. *«Правда» печатала стихи от Демьяна Бедного до Ахматовой.* — Демьян Бедный (наст. фамилия Е. А. Придворов) (1883—1945) — русский советский поэт; Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия А. А. Горенко) (1893—1966) — выдающийся русский поэт.

О Демьяне Бедном Слуцкий знал: «Жил в Кремле, хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину». Об Ахматовой знал, что нелюбима советской властью и нелюбовь эта взаимна. Увидев эти два имени в «Правде», понял: власть вынуждена изменить свое отношение к Ахматовой (как выяснилось, не надолго). Стихотворение А. Ахматовой «Мужество» («Мы знаем, что ныне лежит на весах...») было напечатано в «Правде» к женскому празднику 8 марта 1942 года. Это было единственное стихотворение Ахматовой, опубликованное «Правдой». Д. Бедный был постоянным автором «Правды».

2. *«...сущее было слишком разумным».* — Чуть измененная цитата из Гегеля: «Все действительное разумно, все разумное действительно».

3. *Мехлис* Лев Захарович (1889—1953) — генерал-полковник. Во время Великой Отечественной войны начальник Главного политического управления РККА и зам. наркома обороны (до июля 1942), затем член Военного совета ряда фронтов. Неудачи советских войск под Керчью связывают, в том числе, с вмешательством Мехлиса в руководство войсками.

4. *КПЮ* — Коммунистическая партия Югославии, создана в 1919 году, преобразована в Союз коммунистов Югославии в 1952 году.

5. *Эренбург* Илья Григорьевич (1891—1967) — известный писатель и общественный деятель. Первый сборник стихов издал в Па-

риже (1910). С начала 30-х гг. постоянно жил в СССР. Автор многих романов, а также повести «Оттепель», название которой стало нарицательным для обозначения перемен, наступивших после XX съезда КПСС. Борис Слуцкий, упомянувший в «Записках» о значении статей Эренбурга о войне, еще не подозревал, что после войны сблизится с Эренбургом и найдет в нем поклонника своих стихов и доброжелательного собеседника. Слуцкий посвятил Эренбургу несколько стихотворений, в том числе известное стихотворение «Лошади в океане», включенное в настоящий сборник. В книге Эренбурга «Люди, годы, жизнь» есть воспоминания о встречах с Борисом Слуцким; в книге Слуцкого «О других и о себе» есть очерк «Эренбург».

6. «...иногда, как это было после вступления на немецкую территорию...». — Автор имеет в виду статью зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Г. Ф. Александрова, опубликованную в «Правде» 14 апреля 1945 г. «Товарищ Эренбург упрощает»; там была провозглашена новая линия по отношению к немцам, исходившая из высказывания Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается».

7. «...моральной левой оппозицией». — Автор имеет в виду, что отставание линии на продолжение ненависти было более «левой» политикой, чем провозглашенный новый курс по отношению к немцам. Само понятие «левая оппозиция» — одно из самых опасных словосочетаний для того времени, т. к. «левой оппозицией» был троцкизм.

8. «...историческая нелюбовь к "колбасникам"». — Отождествление немца с «колбасником» в общественном сознании сформировалось под воздействием русофильской пропаганды при Александре III и, конечно, под влиянием антинемецких настроений 1914—1917 г.

9. *Ландскнехт* (нем.) — термин, обозначающий наемного солдата. В данном контексте использовано автором переносное значение — жестокий, беспощадный солдат.

10. «Зимой 1941 года на Воронежском фронте». — Более вероятно, что автор имел в виду зиму 1942 г.; Воронежский фронт был образован в июле 1942 г.

11. «...лениво переругиваются рупористы». — Речь идет об одновременном вещании по обе стороны фронта «разлагателей» войск противника.

12. «...по ту сторону добра и зла». — Название знаменитой книги Ф. Ницше, оказавшего огромное влияние на формирование фашистской идеологии.

13. «На западном фронте была деревня Петушки». — Об этой деревне пишет и Эренбург: «Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за безымянную высоту, за деревню Петуш-

ки. От деревни давно ничего не осталось... Треклятые Петушки!» («Люди, годы, жизнь». М., 1990. Т. II. С. 268).

14. «...цифра, почти бородинская по своему значению». — В Бородинском сражении стороны потеряли около 100 тысяч убитыми (русские потери составили 44 тысячи человек).

15. *Федюнинский Иван Иванович* (1900—1977) — генерал армии, Герой Советского Союза, в годы войны командовал рядом армий и непродолжительное время Ленинградским фронтом.

16. «...сдался в плен лейтенант — назовем его *Рахимов*». — Автор не называет настоящей фамилии, чтобы не подвести офицера.

17. *Римские проконсулы*. — Проконсул — должностное лицо в Древнем Риме, наместник в провинции.

18. *Приказ № 270* — приказ Ставки Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР от 16 сентября 1941 г. «О борьбе с трусами, дезертирами и паникерами».

19. «*В штрафных батальонах...*» — В данном контексте более точно — «штрафные батальоны», в которые направлялись военнослужащие, в том числе и офицеры, уличенные в трусости и паникерстве.

20. *Атлантизм* — выжидание момента, который может принести наибольшие преимущества.

21. *МПВО* — местная противовоздушная оборона.

22. *АХО* — административно-хозяйственный отдел.

23. *Цыбарка* (укр.) — ведро.

24. *Суворова Могила*. — Такое название географические справочники не отмечают. Наиболее вероятно, что такое название сохранила народная память применительно к местам вблизи полей сражений, где Суворов одержал свои победы (например, небольшое селение вблизи Измаила носит имя великого полководца).

25. *Воеводина* — автономный край в составе Народной Республики Сербии. Главный город — Нови-Сад.

26. «*Пеньги не деньги*». — Пеньгэ — денежная единица Венгрии до 1946 г. Война и оккупация вызвали сильное обесценение пеньге; в 1946 г. пеньге обменены на форинты.

27. *Лей* (лей) — денежная единица Румынии.

28. *Марка* — денежная единица Германии, имевшая хождение на оккупированных немцами территориях.

29. *Антонеску Йон* (1882—1946) — военно-фашистский диктатор Румынии с 1940 по 1944 гг. В 1946 г. казнен как военный преступник по приговору бухарестского трибунала.

30. *Фюрнберг* (1902—1978) — секретарь коммунистической партии Австрии, один из организаторов и руководителей борьбы против фашизма, за национальную независимость Австрии.

РУМЫНИЯ

1. «...с декабризмом навыворот». — Автор имеет в виду, что влияние Европы на будущих декабристов подталкивало их к революции, советских солдат — к контрреволюции.

2. «Недичевских динаров...» — Динар — денежная единица Югославии; Недич Милан (1877—1946) — генерал; с 1941 г. возглавлял созданное немецкими оккупантами марионеточное правительство Сербии. Военные формирования Недича участвовали в борьбе против народно-освободительного антифашистского движения. В 1944 г. бежал из страны, позднее был арестован; находясь под следствием, покончил жизнь самоубийством.

3. *Ее Пошехонье...* — Пошехонье — город, районный центр Ярославской обл., нарицательное название российского захолустья.

4. «24-летний корольек всей Румынии». — Имеется в виду король Михай, находившийся на троне до 1947 года, когда (в декабре) была свергнута монархия и провозглашена Румынская Народная Республика.

5. *Гогенцоллерны-Зигмарингены* — швабская линия Гогенцоллернов; занимали румынский престол с 1886 по 1947 г.

6. *Гроза Петру* (1884—1958) — первый премьер-министр освобожденной Румынии.

7. *Сусайков Иван Захарович* (1903—1962) — генерал-полковник танковых войск, член Военного совета 2-го Украинского фронта; в 1944 г. возглавлял советскую военную администрацию в Румынии.

8. «...о перевороте 23 августа» (1944 года). — В результате переворота была свергнута военно-фашистская диктатура, и Румыния повернула оружие против своего бывшего союзника — фашистской Германии.

9. «...придворные ассоциируют его с Петром Великим». — Советский историк М. Н. Покровский в книге «Русская история в самом сжатом очерке» писал, что Петр I был болен сифилисом; по слухам, Михай заразился от матери венерической болезнью. На этом основании злые языки ассоциировали Михая с Петром. Другие качества этих монархов не выдерживают никакого сравнения.

10. *КПР* — Коммунистическая партия Румынии. Создана в 1921 году, с 1924 года и до освобождения страны действовала в подполье.

11. *Сигуранца* — румынская тайная полиция, отличавшаяся особой жестокостью по отношению к противникам режима.

12. *Михаил Антонеску* — брат диктатора Антонеску.

13. «... в отличие от своего савойского коллеги...». — Итальянский король Умберто II, представитель савойской династии, лично объявил Муссолини о его низложении в 1943 г. Король Михай избежал встречи с низложенным диктатором Антонеску.

14. *Трансильвания* — историческая область, бывшая многие века спорной территорией. После первой мировой войны была передана Румынии. В 1940 г. Северная Трансильвания была отторгнута в пользу Венгрии, в 1947 г. возвращена Румынии.

15. *ППЖ* — так на фронте называли полевых жен, офицерских и генеральских любовниц.

16. «*Это прорывалась в Европу Дунька*». — Измененная цитата из пьесы К. Тренева «Любовь Яровая» («Пустите, пустите Дуньку в Европу»).

17. *Добруджа* — область между нижним течением Дуная и Черным морем. Северная часть принадлежит Румынии, южная — Болгарии.

БОЛГАРИЯ

1. «*Седьмому отделению было приказано...*». — 7-е отделение политотдела армии — подразделение, занимавшееся разложением войск противника, изучением политической обстановки и связями с политическими партиями, общественными и религиозными организациями, подготовкой рекомендаций командованию.

2. *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856) — русский военный деятель, генерал-фельдмаршал, в 1853—1856 гг. — главнокомандующий русской армией на Дунае.

3. *Дибич-Забалканский* Иван Иванович (1785—1831) — генерал-фельдмаршал, в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. главнокомандующий русской армией.

4. *Покровский* Михаил Николаевич (1868—1932) — историк, политический деятель, академик АН СССР (1929), автор официально принятого (до 1934 г.) учебника «Русская история с древнейших времен». Пытался осветить историю России с позиций вульгарного марксизма, оценивал русско-турецкую войну 1877 года как империалистическую акцию, прикрываемую пропагандистской фразой об освобождении славянства.

5. «...*скобелевских времен*». — Имеется в виду освобождение болгар от турок (1876—1878 гг.). Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский военный деятель, генерал от инфантерии. Отличился в русско-турецкой войне, особенно в боях под Плевной и в сражении при Шипке. Успешные действия войск под командо-

ванием Скобелева принесли ему большую популярность в России и Болгарии.

6. «...*верещагинских тонах*». — Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец. Особенности успехов достиг в батальной живописи. Говоря о «верещагинских тонах», автор имеет в виду известное полотно «Апофеоз войны» и картину «Шипка-Шейново».

7. *Зимов* Стоян (1853—1932) — болгарский патриот, архитектор военно-исторических памятников, создатель музеев в Плевне в память героев Освободительной войны 1877—1878 гг. («Иерусалимы болгарской признательности» России).

8. *Зимов* Владимир (1888—1942) — генерал, сын архитектора Стояна Зимова. После нападения Германии на СССР вел активную борьбу против монархии и фашизма в Болгарии. В 1942 г. был приговорен к смерти фашистским военным судом и расстрелян в Софии.

9. 8 сентября. — В этот день советские войска вступили на территорию Болгарии; 9 сентября был свергнут фашистский режим.

10. «...у болгарских коммунистов был *возездь*». — Автор имеет в виду Георгия Димитрова (1882—1949), деятеля международного и болгарского рабочего движения. Димитров приобрел международную известность после того, как в 1933 г. был арестован по провокационному обвинению в поджоге германского рейхстага и на Лейпцигском процессе разоблачил гитлеровскую провокацию. В 1945 г. возвратился в Болгарию и до конца жизни находился на постах Ген. секретаря компартии и Председателя Совета министров Болгарии.

11. *Ракоши* Матяш (1892—1971) — деятель международного и венгерского рабочего движения. В бытность Ракоши Первым секретарем компартии в Венгрии были проведены массовые репрессии, послужившие одной из причин восстания 1956 г. в Будапеште.

Броз Тито Иосип (1892—1980) — с 1940 г. Генеральный секретарь ЦК компартии Югославии, маршал Югославии, в 1941—1945 гг. Верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии.

Катаяма Сэн (1859—1933) — деятель международного и японского рабочего движения.

12. «*Как он ответил Герингу, когда тот на суде обозвал его темным болгаринном...*». — Речь идет об ответе Димитрова на оскорбление, брошенное Герингом на Лейпцигском процессе: «Задолго до того времени, когда германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространяли древнеболгарскую письменность».

Геринг Герман (1893—1946) — рейхсмаршал, министр авиации в фашистской Германии, один из главных военных преступников. На Нюрнбергском процессе приговорен к смертной казни, в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

13. *Разград* — город на одном из притоков Дуная северо-восточнее Русе.

14. *Бранники* — молодежная профашистская организация Болгарии.

15. «... в державной сизурности...». — Речь идет о болгарской тайной политической полиции.

16. *Ждановские танки*. — Автор имеет в виду танки 4-го гвардейского механизированного корпуса, которым командовал генерал В. И. Жданов (1902—1964), Герой Советского Союза, Народный герой Югославии.

17. *«Омладненцы»* — молодежная организация Болгарии коммунистической ориентации.

18. *«Звенари»* — члены политической группировки «Звено», возникшей в 1928 г. и объединившей оппозиционные настроенных к царской династии офицеров и буржуазных интеллигентов. В 1936 г. пришли к власти в результате военного переворота и установили военно-фашистскую диктатуру. Летом 1942 г. достигли согласия с Болгарской рабочей партией и Болгарским земледельческим народным союзом (БЗНС). 9 сентября 1944 г. приняли участие в свержении монархии.

19. «... четырехпартийную армию...». — Автор имеет в виду четыре партии болгарского Отечественного фронта, оформившегося в 1942 г., — Болгарскую рабочую партию (коммунистов), Социал-демократическую партию, БЗНС и Народный союз «Звено».

20. *Домаскинос* Димитриос Папандреу (1891—1949) — греческий епископ, с 1944 г. епископ Афин. Участвовал в греческом сопротивлении.

21. *«Царенок»*. — Речь идет о малолетнем последнем царе Болгарии Симеоне II. Находился на троне с 1943 по 1946 гг., когда в результате референдума Болгария была объявлена Народной Республикой.

22. «... казни дяди...». — Имеется в виду казнь младшего брата царя Бориса, Великого князя Кирилла Преславского (1895—1945), входившего с 9 августа 1943-го по 9 сентября 1944 г. в состав регентского совета. После восстания 9 сентября 1944 г. был арестован и впоследствии расстрелян.

23. *«К царю приставили соответствующих опекунов...»*. — *Папалов* Годор Димитров (псевд. П. Досев) (1890—1977) — академик, общественный деятель, известный философ-марксист. В 1941—1944 гг. был приговорен фашистским правительством Болгарии к тюрем-

ному заключению. *Бобошевский* Цвятко Петров (1884—1952) — юрист, политический и общественный деятель. Некоторое время был министром в довоенных правительствах Болгарии. *Ганев* Ванаелин Иорданов (1880—?) — профессор Софийского университета в области торгового права и философии права.

24. *Лев* — болгарская денежная единица.

25. «*Шуми Марица*» — болгарский гимн.

26. *Водач* (болг.) — вождь, руководитель, предводитель.

27. «*Мудрое устраниение Бетлена*». — Бетлен Иштван (1874—1946) — трансильванский помещик, член Венгерской академии наук, один из руководителей венского антибольшевистского комитета. Премьер-министр Венгрии (1921—1931). Играл большую роль в укреплении фашистского режима в Венгрии. Во время второй мировой войны добивался сепаратного мира с Англией и США и пересмотра Трианонских соглашений, по которым Трансильвания отошла к Румынии. С освобождением Венгрии Бетлен был без большой огласки изолирован и не допущен к власти в новой Венгрии. В 1945 г. был депортирован в СССР, о чем автору не было известно. Умер Бетлен в октябре 1946 г. в Бутырской тюрьме.

28. «...*провал армии Вереша...*» — см. примеч. № 11 к главе — «Венгрия».

29. *Маниу* Юлиу (1873—1955) — румынский политик. Премьер-министр в 1928—1930 гг. и 1932—1933 гг. Во время второй мировой войны один из руководителей оппозиции режиму Антонеску. В 1947 г. был осужден за измену родине к пожизненному заключению. Националист Маниу добивался присоединения Трансильвании к Румынии. Слуцкий, сравнивая Маниу с венгерским националистом Бетленом, тем самым подчеркивает, что для него, интернационалиста, одинаковы, что венгерский националист Бетлен, что румынский Маниу.

30. «*Боротьбисты*» — украинская партия эсеров, вошедшая в 1920 г. в состав компартии Украины. В начале 1930-х гг. в ходе борьбы с украинскими националистами (с т. н. украинизацией) большинство боротьбистов было репрессировано.

31. «*Широковцы*» — так называли членов Болгарской социал-демократической партии («партии широких социалистов»).

32. *Цанков* Александр (1879—1959) — лидер болгарских фашистов. В сентябре 1944 г. бежал в США, а затем в Аргентину. С 1948 г. возглавлял болгарскую фашистскую эмиграцию.

33. *Хинтерланд* (нем.) — окраина, глубокий тыл (*воен.*).

34. *Блюм* Леон (1872—1950) — французский политический деятель, лидер социалистов. В 1943—1945 гг. находился в немецком концлагере. Выступал против союза с коммунистами.

ЮГОСЛАВИЯ

1. «...стойкости популярной национальной церкви». — Автор имеет в виду сербскую православную автокефальную церковь.
2. *Митра Митрович* (род. в 1912 г.) — член компартии Югославии с 1934 г. Министр просвещения Югославии в 1944—1945 гг.
3. *ОЗНА* (армейская контрразведка) — отделение защиты народа. Создано в Народно-освободительной армии Югославии в мае 1944 г.
4. *Четники* — организация фашистского типа, боровшаяся в годы второй мировой войны против Народно-освободительной армии Югославии.
5. *Дража* (Драга) Михайлович (1893—1946) — сербский генерал, возглавивший формирование четников в 1941—1945 гг. С 1944 г. скрывался, был схвачен и казнен по приговору суда ФНРЮ как военный преступник.
6. «...семнадцати лет юности Петра». — Петр II (Карагеоргиевич) — король Югославии с 1934 г. В апреле 1941 г., после оккупации Югославии немцами, бежал за границу; в оккупации поддерживал четников Д. Михайловича. В ноябре 1942 г. Вече запретило Петру II возвращение в страну. В ноябре 1945 г. монархия была упразднена.
7. «...лучший из полководцев, Коча Попович...». — В 1941 г. Верховный штаб партизанских отрядов Югославии учел негативные уроки борьбы с оккупантами (главным образом, местничество) и приступил к созданию регулярных воинских частей. Первой бригаде, сформированной из шахтеров и металлургов, присвоили наименование Пролетарской. Ее первым и бессменным командиром стал Коча Попович.
8. «Казачий полковник Махин...» — Махин Ф. Е. (1882—1945), окончил Николаевскую академию Генерального штаба, по списку Генерального штаба Русской армии (1916 г.) — подполковник, офицер штаба 8-й армии, действовавшей в период первой мировой войны на Юго-Западном фронте (в Галиции).
9. *Дутов* Александр Ильич (1879—1921) — атаман Оренбургского казачьего войска, один из руководителей казачьей контрреволюции; командовал казачьей армией у Колчака.
10. *Тито* Иосип Броз. — См. примеч. № 11 к главе «Болгария».
11. «У Тито было двадцать шесть Ковпаков». — Ковпак Сидор Артемьевич (1887—1967), генерал-майор, один из организаторов партизанской борьбы на Украине в годы Великой Отечественной войны. Командир партизанского отряда, а затем партизанского соединения. Дважды Герой Советского Союза. Возглавил пять

крупных и успешных рейдов по фашистским тылам. Автор имеет в виду, что у Тито было 26 (по числу командиров партизанских соединений) таких же геройских и умелых командиров, как Ковпак.

12. *Петефи* Шандор (1823—1949) — венгерский поэт, деятель революции 1948—1949 гг. в Венгрии. Во время восстания возглавлял рабочих и учащихся Пешта. Пал смертью героя в битве под Шегешваром. Творчество Петефи сыграло огромную роль в развитии венгерской литературы и занимает видное место в мировой культуре.

13. *Русины* — украинцы западно-украинских земель — Галиции, Буковины, Закарпатской Украины.

14. *Одбор* (серб.) — комитет;

Бачка. — См. примеч. 31 к данной главе.

15. *Малиновский* Родион Яковлевич (1898—1967) — Маршал Советского Союза. В 1943—1945 гг. командовал 2-м и 3-м Украинскими фронтами. В 1957—1967 гг. Министр обороны СССР.

16. «*Преторианский запах*». — Преторианцы в Древнем Риме — солдаты личной охраны полководцев, затем солдаты императорской гвардии. С конца II в. начали играть большую роль в политической жизни Рима, участвуя в дворцовых переворотах. В переносном смысле, который имеет в виду автор, — войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

17. *Жданов* В. И. — См. примеч. № 16 к главе «Болгария».

18. *Гаген* Николай Александрович (1895—1969), — генерал-лейтенант, командующий 57-й Армией, соединения которой освободили Белград. Борис Слуцкий был офицером политотдела 57-й Армии.

19. *Антонов* Александр Иннокентьевич (1896—1962) — генерал армии, в годы войны первый зам. начальника Генерального штаба СССР.

20. *Толбухин* Федор Иванович (1894—1949) — Маршал Советского Союза, командующий Южным, 3-м и 4-м Украинскими фронтами.

21. *Баранья* — исторически сложившаяся область между Дунаем и Нижней Дравой; часть Бараньи входит в состав Сербии, большая часть — в состав Венгрии.

22. *Дитер* (сербо-хорв.) — командир.

23. «...*усташского подполковника*...». — Усташи (сербо-хорв. — повстанцы) — члены фашистской террористической организации хорватских националистов. После оккупации Югославии создали под эгидой германских и итальянских оккупантов марионеточное, так называемое «Независимое хорватское государство». В союзе с немцами воевали против четников и коммунистических партизан; *Павелич* Анте (1889—1959) — руководитель националистического

движения усташей. В 1941—1945 гг. возглавлял «Независимое хорватское государство». Заочно был приговорен Народным судом Югославии к смертной казни. С 1945 г. скрывался в Австрии, Италии, Аргентине, Испании.

24. «*Миссии Корнеева*». — Имеется в виду советская военная миссия при штабе Броз Тито.

25. «*Черчилль послал в Югославию сына*». — Полковник Рандольф Черчилль возглавлял британскую миссию при штабе Тито. Автор многостраничной (1400 страниц) биографии отца.

26. «*Британский союзник*» — иллюстрированный журнал на русском языке, издаваемый в Москве посольством Великобритании в годы войны.

27. «*Интеллидженс сервис*» — главная и строго засекреченная разведывательная служба Великобритании. Основана в конце XV в. как служба зарубежной политической разведки.

28. «*Триест и Корушка*». — Речь идет о спорных территориях, на которые претендовала Югославия. Триест — город и крупный порт в Северной Италии на Адриатическом море, долгое время был объектом дипломатической борьбы Югославии и Италии. В 1954 г. благодаря позиции, занятой Англией, окончательно перешел к Италии. Корушка — славянское название Каринтии, австрийской земли, граничащей со Словенией.

29. *Аношин, Гашев* — политработники, руководители политорганов 3-го Украинского фронта и 57-й Армии.

30. *Печ* — венгерский город, расположенный в сорока километрах от границы с Югославией.

31. *Бачка* — до первой мировой войны венгерский комитат (графство), местность, лежащая между Дунаем и Тиссой. С ноября 1918 г. передана в состав Сербии и стала называться Воеводина. Главный город — Нови-Сад.

32. *Радкерсбург* — австрийский город, расположенный на стыке границ Австрии, Венгрии и Югославии.

33. *Фюрстенфельд* — город в Южной Германии.

34. «*...тренировали дивизию в духе легенд о "самсоновских зверствах" в Восточной Пруссии*». — Речь идет о якобы имевших место зверствах русских войск по отношению к немцам, жителям Восточной Пруссии, в начале первой мировой войны. Слухи об этом распространяла немецкая пропаганда с целью дискредитации русских войск. Войсками действовавшей в Восточной Пруссии 2-й Армии командовал генерал от кавалерии В. А. Самсонов (1859—1914). Погиб при невыясненных обстоятельствах.

35. «*...ростопчинских афишек*». — Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — генерал от инфантерии, военный губернатор Москвы в 1812 г., выпускавший антифранцузские листовки (афишки),

написанные в псевдонародном стиле. Вряд ли главной причиной пожара Москвы могли быть «афишки».

36. *«За сто пятьдесят лет не более двух царей умерло в своей постели»*.— История сербских королевских домов полна и кровавых страниц. Основатель династии Карагеоргиевичей — Георгий Петрович, прозванный Черным (Кара) за убийство отца, сам был обезглавлен в 1813 г. Из династии Обреновичей, пришедшей на смену Карагеоргиевичам и правившей с перерывами весь XIX век, были убиты Михаил II и Александр I. Но в целом суждение «республиканца», будто «не более двух царей умерло в своей постели», отражает народное представление, а не исторический факт.

37. *«...выстреле Приципа»*.— Принцип Гаврило (1894—1918) — сербский студент, убивший в июне 1914 г. в Сараево австро-венгерского наследника эрцгерцога Фердинанда. Покушение явилось поводом для начала первой мировой войны.

38. *«Не-о-чем — кра-ля. О-чем — Ти-та»*.— «Не хотим короля, хотим Тито!»

39. *Петр I Карагеоргиевич* (1844—1921) — король Сербии с 1903 г. и королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 г.

40. *«Живе ли героиску комендант првой четы Иван Иванович и негова другарица Катька»* (серб.).— «Жив ли героический командир первой роты (отряда) Иван Иванович и его подруга Катька».

ВЕНГРИЯ

1. *Франчишка*.— Гааль Франческа (1904—1956) — знаменитая венгерская киноактриса. В России она была широко известна по фильмам «Петер» и «Маленькая мама». Умерла в США.

2. *«...римским именем — Софиане»*.— Имя, оставшееся от римской колонии; София — мудрость.

3. *Хорти* Миклош (1868—1957) — адмирал (был главнокомандующим австро-венгерским флотом в 1918 г.), фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг. В 1919 г. организовал выступление против Венгерской Советской Республики. В 1941 г. вверг страну в войну против СССР на стороне гитлеровской Германии. С октября 1944 г. в эмиграции в Португалии.

4. *ВОКС* — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

5. *«Рама»* — немецкий двухфюзеляжный самолет «Фокке-Вульф» использовался, главным образом, как самолет-разведчик.

6. *Заградотряды* — располагались в ближнем тылу своих войск, пресекали несанкционированное отступление и отлавливали де-

зertiров, мародеров и т. п. Формировались из войск НКВД и пограничных войск.

7. *«Версальский мир мудро отбирал у побежденных не только оружие, но и право вооружаться».*— Версальский мирный договор 1919 г., завершивший первую мировую войну. «Мудрость» договора, о которой говорит автор, была относительной. Версальский мир скорее способствовал перевооружению Германии и возрождению вермахта.

8. *«Черным рейхсвером».*— Кроме разрешенной Версальским договором ограниченной численности войск («Рейхсвер») в Германии содержались в нарушение договора воинские формирования «Черного рейхсвера».

9. *«...моихенской капитуляцией».*— Имеется в виду договор между Англией и Францией, с одной стороны, и Гитлером, с другой, фактически открывший путь гитлеровской агрессии. Иносказательно: капитуляция цивилизованных стран перед вооруженным варварством.

10. *«В октябре он по радио призывал к сопротивлению немцам...»* — В марте 1944 г. немцы, опасаясь освобождения Венгрии советскими войсками, оккупировали страну. Хорти призывал венгров оказать сопротивление. В Венгрии установился террористический режим гитлеровского агента Салаши. Хорти пришлось бежать из страны.

11. *«Одной из ошибок нашей пропаганды была "Армия Вереша"».*— В конце 1944 г. генерал Вереш (1891—1968) предпринял попытку (с согласия командования Красной Армии) создать армию для противодействия немцам, чтобы продемонстрировать лояльность Венгрии к антигитлеровской коалиции. Попытка не удалась, дело ограничилось созданием небольших формирований, не оказавших никакого влияния на ход борьбы с немцами в Венгрии. Говоря об ошибках нашей пропаганды, автор имеет в виду не оправдавшиеся надежды на успехи «армии Вереша».

12. *Атилла* (умер в 453 г.) — предводитель гуннов, столица которых во времена Атиллы находилась на территории Венгрии. Венгры считают себя потомками гуннов.

13. *Фольксбунд (нем.)* — народный союз.

14. *«...портрет Тельмаши, "забытый"... во времена пакта».*— Тельман Эрнст (1886—1944) — вождь немецких коммунистов. Пакт — советско-германский договор о ненападении 1939 г., именуемый в последнее время «Пакт Молотова-Риббентропа». Во время действия пакта антифашистская пропаганда свергывалась, и «забытый» портрет вождя немецких коммунистов выглядел, как опасный анахронизм.

15. «...*графы Тисы*». — Тиса Иштван (1861—1918), граф — венгерский политический деятель. В 1913—1917 гг. глава венгерского правительства. Убит восставшим народом, как один из главных виновников первой мировой войны.

16. «...*жертвам красного террора*». — Красный террор — репрессии во времена Венгерской Советской Республики. Памятник взорван при Ракоши.

17. «*Салон*» — периодические выставки современного изобразительного искусства; в «Салоне» преобладало академическое искусство; термин «салонное искусство» стал синонимом внешней красоты.

18. *Ван Дейк* Антонис (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец.

19. «*Ню*» — обнаженная натура.

20. «*Четырехчленным эришом*». — Имеется в виду смешение пива, водки и вина двух марок.

21. *Ужгород, Мукачево* — закарпатские города с преимущественно украинским населением; отошли к СССР после второй мировой войны.

22. «...*с двойным перехилом рюмки*...». — Перехил (укр.) — перелив.

23. «...*угощал... на манер Петра Великого*». — Автор имеет в виду рассказ о том, как Петр I угощал пленных шведов.

24. «*Приписник*» — военнообязанный запаса, призванный в Вооруженные Силы; военнообязанные, приписанные к воинским частям и направляемые на их укомплектование при мобилизации.

25. *Атаман Григорьев* — буржуазный националист, служивший в отрядах украинских националистов до февраля 1919 г. Затем командовал 6-й дивизией Красной Армии. В мае 1919 г., отказавшись выполнить приказ советского командования, поднял вооруженный мятеж на юге Украины. После разгрома его отряда атаман бежал к махновцам. В июле 1919 г. Григорьев был убит Махно, виделишем в нем соперника.

26. *Бетлен* — см. примеч. № 27 к главе «Болгария».

27. «*Готского альманаха*». — Имеется в виду дипломатический и статистический ежегодник, издаваемый в Готе (Германия) с 1763 г. С 1832 г. включает генеалогическую часть (состав царствовавших домов, княжеских родов и т. п.).

28. *Петефи Ш.* — см. примеч. № 12 к главе «Югославия».

29. *Кошут* Лайош (1802—1894) — венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа во время революции 1848—1849 гг. в Венгрии. *Андраши* Дьюла Старший (1823—1890) — государственный деятель Австро-Венгрии. Участник венгерской революции 1848—1849 гг. Министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871—1879 гг.).

АВСТРИЯ

1. *Фольксштурм* (нем.) — народное ополчение. В конце войны, когда людские резервы гитлеровской Германии иссякли, в фольксштурм призывались юнцы и старики.

2. «...различать, где прусский говор, а где штирийский». — Пруссия — оплот германского империализма, Штирия — мирная крестьянская Австрия.

3. *Ауслендер* (нем.) — иностранец.

4. *Барбье*. — См. с. 201—204 наст. издания.

5. «...из народной партии». — Имеется в виду партия австрийских католиков, аналог христианско-демократических партий Европы.

6. «*Зимней помощи*». — Имеется в виду кампания по сбору теплых вещей, организованная ведомством Геббельса в связи с неподготовленностью фашистской армии к ведению войны в условиях суровой русской зимы.

7. «*Этот малярный подмастерье, как и его герой*». — Автор сопоставил 19-летнего австрийского подмастерья с Хорстом Весселем — немецким штурмовиком, убитым в стычке с коммунистами. Ему принадлежат слова гимна фашистской молодежной организации — «Хорст Вессель». О нем был снят фильм и поставлены спектакли на многих сценах фашистской Германии.

ЕВРЕИ

1. «...из петлюровцев». — Петлюровщина — буржуазно-националистическое движение на Украине в 1918—1919 гг., названное по имени его главаря — С. В. Петлюры (1879—1926). Отличалось крайним антисемитизмом и жестокими еврейскими погромами.

2. «...назвал себя караимом». — Караимы — немногочисленная этническая группа, живущая в Крыму и Литве; потомки древних тюркских племен. Имели письменность на древнееврейском алфавите и исповедовали иудаизм.

3. «...комитеты по розподилу жидивского майна» (укр.). — Имеются в виду комитеты по разделу (распределению) еврейского имущества.

4. «*Власовские книжки*» — литература на русском языке, распространяемая пропагандистским ведомством штаба генерала Власова.

-
5. *Сексот* — секретный сотрудник, доноситель.
6. «...между жизнерадостными одесситами и рахитичными литваками...» — Автор имеет в виду бытовавшее в среде самих евреев разделение на южных и северных жителей черты оседлости.
7. «У Суворова есть оборотная сторона... Костюшко». — В 1774 г. Суворов принимал участие в войне против польских конфедератов, во главе которых стоял Т. Костюшко (1746—1817). Восстание было жестоко подавлено царскими войсками.
8. *Донской* Дмитрий (1350—1389) — великий князь Московский и Владимирский, сын Ивана II. Руководил русскими полками в Куликовской битве 1380 года, завершившейся разгромом войск Золотой Орды, выступивших под водительством татарского военачальника Мамай.
9. *Чингиз* (Чингисхан; Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155—1227) — основатель монгольской империи, организатор завоевательных походов в Азию и Восточную Европу. Его походы сопровождались опустошением городов, гибелью целых народов и привели к установлению монголо-татарского ига в завоеванных странах.
- *Тимур* (Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир. Совершал грабительские походы, отличался необычайной жестокостью.
10. «...земле Ханаанской...» — Под этим названием во многих местах Библии обозначены земли по эту сторону Иордана, Финикия и др. В новейшее время к земле Ханаанской относят всю Палестину.
11. *Богдан Хмельницкий* (ок. 1595—1657) — руководитель освободительного движения украинского народа против польского владычества. В 1654 г. на Переяславской Раде провозгласил воссоединение Украины с Россией.
12. «...купянской грязи...» — Купянск — районный центр Харьковской области в ста километрах восточнее Харькова.
13. *Могилев* — районный центр Днепропетровской области в семидесяти километрах северо-западнее Днепропетровска.
14. *Тирасполь* — до войны столица советской Бессарабии.
15. *Сионист* — приверженец сионизма — восстановления еврейского государства на землях Палестины и возвращения евреев на историческую родину.
16. *Тодор Павлов* — см. примеч. № 23 к главе «Болгария».
17. «*Танками Роммеля*». — Роммель Эрвин (1891—1944) — генерал-фельдмаршал немецко-фашистской армии, в 1941—1943 гг. командовал экспедиционным корпусом в Северной Африке. Был связан с антигитлеровским заговором 1944 г. Покончил жизнь самоубийством.
18. *Сомбор* — город в Югославии в семидесяти пяти километрах северо-восточнее Белграда.
19. *Бор* — город в Югославии в двухстах километрах восточнее Белграда.

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ

1. *Струве* Петр Бернгардович (1870—1944) — русский политический деятель, экономист, философ, теоретик «легального марксизма», один из переводчиков «Коммунистического манифеста». Был противником революционного марксизма, в особенности, учения о диктатуре пролетариата и социалистической революции.

2. «...умер, завершив... римским концом». — Автор имеет в виду непоколебимую веру Струве в победу России над фашизмом, веру, которая была сродни римскому патриотизму и уверенности римлян в их превосходстве над врагами Рима.

3. «*Нансеновские паспорта*». — Так назывались паспорта, выдаваемые военнопленным и беженцам после первой мировой войны; названы по имени известного норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена (1861—1930), назначенного после войны верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных.

4. «*Такие же (нансеновские. — Ред.) паспорта давали турецким армянам*». — Речь идет об армянах, бежавших из Турции в 1915 г., спасавшихся от резни, устроенной турками.

5. «*Сокольские клубы*». — Они были созданы в Чехии в начале XX в. полувоенноизбранным гимнастическим обществом «Сокол».

6. *Карагеоргиевичи* — в XX в. королевская династия в королевстве сербов, хорватов и словенов, а с 1929 г. (фактически до 1941 г.) — в Югославии. Последний король — Петр II.

7. *Пуанкаре* (1860—1934) — президент Французской республики, один из организаторов интервенции против Советской России.

8. *Вильсон* (Уилсон) Томас Вудро (1856—1924) — президент США (1913—1921). Один из вдохновителей и организаторов интервенции и блокады Советской России.

9. *Франше д'Эспере* (1856—1942) — маршал Франции, один из наиболее известных полководцев первой мировой войны. В мае 1918 г. командовал союзными войсками в Македонии. Здесь им была одержана победа, вынудившая Болгарию выйти из войны и открывшая путь на Вену.

10. *Генерал Черняев* — Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал-лейтенант русской армии, сформировавший в 1876 г. отряд русских добровольцев и до официального объявления войны Турции поддержавший сербских повстанцев.

11. «*Сменовеховцы*». — «Смена вех» — сборник, изданный в Праге в 1921 году (в последующем издавался в Париже как журнал под тем же названием). Призывал белую эмиграцию к сотрудничеству с большевиками, учитывая Новую экономическую политику (НЭП). Один из главных идеологов «сменовеховцев» Н. В. Устря-

лов призывал интеллигенцию к сотрудничеству с «новой буржуазией» и советской властью, надеясь на постепенную эволюцию последней в сторону буржуазной демократии. Устрялов, проживавший с 1920 г. в эмиграции, в 1935 г. возвратился в СССР, где вскоре был репрессирован и погиб в 1937 г.

12. *Краснов Петр Николаевич* (1869—1947) — генерал-лейтенант, один из руководителей контрреволюции в период гражданской войны. В 1920 г. эмигрировал в Германию. Во время второй мировой войны сотрудничал с немцами. Был схвачен нашими войсками и казнен по приговору суда.

13. *«Мятеж ССП напоминал внутрисловный бунт декабристов против Простаковых».* — Речь идет о дворянской просвещенной революционности, выступившей против мракобесия провинциальных помещиков; мятеж своих против своих.

14. *«Муравьевская Болгария».* — Автор имеет в виду образованное 2 сентября 1944 г. правительство Болгарии во главе с К. Муравьевым, лидером правого крыла Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). Образование этого правительства явилось компромиссом между БЗНС и нефашистской буржуазией с целью изоляции коммунистов в Отечественном фронте. Политика Муравьева отличалась крайней нерешительностью в разрыве отношений с Германией и дальше объявления нейтралитета не пошла.

15. *Махши.* — См. примеч. № 8 к главе «Югославия».

16. *«...знаменитый Саблин».* — Саблин Ю. В. (1897—1938), член коммунистической партии с 1919 г. До вступления в РКП(б) активный член партии эсеров; с 1917 г. — левый эсер, участвовал в левозеро-эсеро-вом мятеже в Москве летом 1918 г., амнистирован. Участник гражданской войны и подавления Кронштадтского восстания. Репрессирован и расстрелян в 1938 г. Указание на то, что «знаменитый Саблин» был начальником военных сообщений у Тито, — легенда, или речь идет о другом Саблине-однофамильце.

17. *Профессор Алексеев Н. Н* (1876—1964) — юрист, в 1940—1943 гг. преподавал в Белградском университете. Эмигрировал во Францию. Участник Французского сопротивления.

18. *Голенищев-Кутузов Илья Николаевич* (1904—1969) с семьей эмигрировал в Сербию, крупный специалист по итальянскому Возрождению и сербской литературе. С 1951 по 1953 гг. находился в югославской тюрьме. После освобождения два года жил и преподавал в Будапеште. С 1955 г. жил в Москве, работал в институте Мировой литературы и преподавал в МГУ. Ему принадлежит ряд книг о Данте. Редактировал книги «Поэты Югославии» и «Эпос сербского народа». В переводах стихов для этих книг участвовал Борис Слуцкий.

19. *Ладинский Антонин Петрович* (1896—1961) — русский пи-

сатель. С 1921 г. жил в эмиграции в Париже. В 1946 г. принял советское гражданство, в 1955 г. возвратился в СССР.

20. Довид *Кнут* (наст. имя и фамилия — Давид Миронович Фиксман) (1900—1955) — русский поэт. Жил в эмиграции в Париже. Активный участник Французского сопротивления. Его жена, дочь Скрябина, погибла в перестрелке с гестаповцами.

21. *Кульчицкий* Михаил Валентинович (1919—1943) — поэт, один из участников московской группы поэтов, к которой принадлежали Борис Слуцкий, а также Павел Коган, Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и др. Кульчицкий — близкий друг и соратник Слуцкого еще по Харькову. Участник Великой Отечественной войны, Михаил Кульчицкий погиб под Сталинградом в январе 1943 г. Борис Слуцкий тяжело переживал гибель друга и считал ее одной из самых больших потерь русской поэзии на войне.

Слуцкий посвятил своему другу несколько стихотворений, в том числе знаменитое стихотворение «Давайте после драки...» («Голос друга»), о котором Слуцкий писал впоследствии: «Прыгнуть выше самого удается редко. В этом случае я, наверное, прыгнул» («О других и о себе». С. 24).

22. *Сельвинский* Илья (Карл) Львович (1899—1968) — известный русский советский поэт. Участник Великой Отечественной войны. В литературном семинаре, руководимом Сельвинским, до войны учились Борис Слуцкий и Михаил Кульчицкий.

23. *Коста Надь* (род. в 1911) — генерал-полковник, член КПЮ с 1937 г. Участник гражданской войны в Испании (командир Балканского батальона). В 1941—1945 гг. руководил партизанским движением в Воеводине, был членом Главного штаба Народно-освободительной армии Югославии.

24. *Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — русский генерал от инфантерии. Участник войны 1812 г. С 1816 г. главнокомандующий в Грузии. За покровительство декабристам был уволен в отставку в 1827 г.

25. «...*напомнившие 1937 год*». — Имеется в виду снятие портретов репрессированных партийных и военных деятелей. Впервые такое «вычеркивание» из истории было при Николае I, когда удалялись портреты декабристов из Военной галереи Зимнего дворца, входящей в настоящее время в экспозицию Государственного Эрмитажа.

26. *Дураков* А. П. (1898—1944) — поэт, переводчик, участник гражданской войны на стороне белых. В 1920 г. эмигрировал из Владивостока в Югославию. В 1941 г. несколько раз был арестован, в 1943 г. вывезен немцами на работы в Германию. В 1944 г. возвратился в Югославию и примкнул к партизанам. Погиб в бою под Белградом.

ДЕВУШКИ ЕВРОПЫ

1. *Кубишка* — подмосковный поселок; в 1941 г. в Кубинке располагалось одно из управлений штаба Московской зоны обороны.

2. *Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская писательница, характерная представительница символизма в русской литературе начала XX в. В эмиграции (с 1920 г.) выступала в стихах и статьях с резкими нападками на советский строй. Вместе со своим мужем, известным русским писателем Д. С. Мережковским (1865—1941), сотрудничала с немцами.

3. «...пропагандной значимости перевода всех железнодорожных путей на европейскую колею». — Скорее всего, в этом не было никакого пропагандистского расчета: когда немцы восстанавливали взорванные нами пути, естественно, их подгоняли под европейский стандарт, чтобы мог быть использован немецкий подвижной состав.

4. *Капошвар* — город в Румынии в ста пятидесяти километрах юго-западнее Бухареста.

5. «...прием, изобретенный еще римскими матронами во времена Алариха и вандалов». — Аларих (ок. 370—410) — король германских вестготов. Опустошил Грецию, в 410 г. захватил Рим и подверг его разграблению и насилию.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. *Митра Митрович*. — См. примеч. № 2 к главе «Югославия».

2. *Горбатов* Борис Леонтьевич (1908—1954) — русский советский писатель, автор ряда повестей и рассказов. Его повесть «Непокоренные» — о жизни и борьбе советских людей в условиях фашистской оккупации Донбасса.

3. «В подполье изучали "Антидюринг" в подлиннике». — Коммунистическое подполье было интернациональным; немецкий язык был официальным языком Коминтерна.

4. «*Некрасовцы*» — казаки-старообрядцы, бежавшие в Турцию от петровских реформ.

5. «...из военнопленных, не возвратившихся в Россию». — Здесь речь идет о военнопленных первой мировой войны.

6. «*Звено*». — См. примеч. № 18 к главе «Болгария».

7. *Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — генерал-фельдмаршал, военный министр России (1861—1881). С деятельностью

Милютину связано осуществление глубокой военной реформы в России (введение всеобщей воинской повинности, сокращение срока службы солдат и др.). По своим взглядам Милютин был последователем Суворова и Кутузова.

8. *Драгомиров* Михаил Иванович (1830—1905) — генерал от инфантерии, русский военный теоретик и педагог. В области тактики и военной педагогики придерживался взглядов Суворова и Кутузова.

9. *Папский нунций* — постоянный дипломатический представитель папы римского в государствах, с которыми Ватикан поддерживал дипломатические отношения.

10. *«Краткий курс»* — официально принятая в СССР история Компартии. Книга была написана по указанию Сталина и подчеркивала роль Сталина вопреки историческим фактам. Издана в 1936 г.

11. *Клычков* Сергей Антонович (наст. фам. Лешенков) (1889—1937) — поэт, прозаик. Принадлежал к «ново-крестьянской» школе (Клюев, Есенин). В 30-х гг. был заклеен как «идеолог кулачества». В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.

12. *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891—1938) — выдающийся русский поэт. Его перу принадлежит острое антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...». В 30-е гг. поэт был репрессирован и погиб в 1938 г. в лагере под Владивостоком.

13. *Пильняк* Борис Андреевич (наст. фам. Вочау) (1894—1938) — известный русский писатель, очень популярный в 1920—1930 гг. Б. Пильняка официально причисляли к «попучикам», «внутренним эмигрантам», а затем и к «врагам» советской власти. В октябре 1937 г. Б. Пильняк был арестован, 21 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян.

ПОПЫ

1. *«По мудрому приказанию Вселукавейшего римского престола»*. — Автор пародирует название Святейшего римского престола.

2. *Викарий* — в православной церкви помощник архиерея по управлению епархией; в католической — папский наместник (до XII в.), посылавшийся в отдаленные области, а также помощник епископа и приходского священника.

3. *«Францисканском монастыре»*. — «Францисканцы» — члены монашеского «нищенствующего» ордена, названного по имени основателя первой общины — итальянского религиозного деятеля Франциска Ассизского (1182—1226). В отличие от других ор-

денов францисканцы не уединялись в монастырях, а обосновывались в городах; проникая в гущу беднейшего населения, они стали одной из важных опор папства.

4. *Рамазан* (рамадан) — девятый (священный) месяц мусульманского лунного календаря, один из главных религиозных праздников у мусульман, в течение которого мусульманам не полагается принимать пищу и пить воду с восхода до захода солнца.

РАЗЛОЖЕНИЕ ВОЙСК ПРОТИВНИКА

1. *Дёниц* Карл (1891—1980) — один из главных военных преступников, немецко-фашистский гросс-адмирал. В 1943—1945 гг. командовал Военно-морским флотом Германии. В начале 1945 г. рейхс-канцлер и главнокомандующий Вооруженными силами Германии. Нюрнбергским трибуналом приговорен к десяти годам тюремного заключения.

2. *Радкерсбург* — см. примеч. № 32 к главе «Югославия».

3. *НП* — наблюдательный пункт.

4. «*Морали господ*». — Определения «мораль господ», «мораль рабов» введены в литературный оборот Фр. Ницше. К «морали рабов» Ницше относил христианскую мораль всепрощения и смирения.

5. *Банат* — историческая область в юго-восточной Европе. С XII в. принадлежала Венгрии, в XVI—XVIII вв. — в составе Османской империи, с 1718 г. перешла к Австрии, с 1920 г. разделена между Румынией и Югославией.

6. *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт.

7. *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель, философ, просветитель.

8. «...*желание бодливости, которое вытолкнуло рога из черепов робких оленей*». — Имеется в виду насмешливая отсылка к натурфилософии Ламарка.

9. *Флавий Иосиф* (37 — после 1000) — древнееврейский историк и писатель; иудей, перешедший на сторону римлян.

10. «*Подобно гаммельнским крысам*». — Автор имеет в виду легенду о гаммельнском крысолове, сманившем в реку игру на флейте крыс, наводнивших город Гаммельн. В отместку за неблагодарность горожан крысолов сманил и потопил детей города.

11. *ОП* — огневые позиции.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	9
<i>Д. Гранин. Вкус победы</i>	11

ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ

Основы	23
Румыния	45
Болгария	61
Югославия	77
Венгрия	100
Австрия	125
Евреи	135
Белогвардейцы	164
Девушки Европы	174
Русский язык	182
Попы	189
Разложение войск противника	196

СТИХОТВОРЕНИЯ И БАЛЛАДЫ

Инвалиды	209
Сороковой год	211
21 июня	213
«Я говорил от имени России...»	214
Солдатские разговоры	215
Дорога	216
Перед вещанием	217
«В сорока строках хочу я выразить...»	219
«Про безымянных, про полузабытых...»	221
Памятник	222

Гора	224
Госпиталь	226
Военный рассвет	229
«Последнюю усталостью устав...»	231
«Хуже всех на фронте пехоте!..»	232
Задача	233
Итальянец	235
Голос друга	238
Лошади в океане	239
Бухарест	241
«Пристальность пытливую не пряча...»	243
Говорит Фома	244
М. В. Кульчицкий	246
Кульчицкие — отец и сын	248
«Ко мне на койку сел сержант— казах...»	250
Когда мы пришли в Европу	251
«Воссоздать сумею ли, смогу...»	256
Немецкие потери (<i>Рассказ</i>)	257
Солдатам 1941-го	259
РККА	260
Бесплатная снежная баба	261
«Земля, земля — вдова солдата...»	262
Как убивали мою бабу	263
Мои товарищи	265
1942	266
Ведро мертвецкой водки	267
Воспоминание о Павле Когане	269
Немка	272
«Расстреливали Ваньку-взводного...»	275
Тридцатки	276
Себастьян	278
В самом конце войны	279
«Какую войну мы выиграли...»	280
«Тот день, когда я вышел из больницы...»	281
День Победы в Альпах	282
9 мая	284
«В тот день, когда окончилась война...»	285
В шесть часов утра после войны	286
«Не безымянный, а безыменный...»	287
«Ордена теперь никто не носит...»	288
О погоде	289
Мальчишки	291
Память	293
Однофамилец	294

Баня	295
«У офицеров было много планов...»	297
Про евреев	298
«Всем лозунгам я верил до конца...»	299
В деревне	300
Песня	301
Терпенье	302
Хозяин	303
«Человечество делится на две команды...»	304
«Когда мы вернулись с войны...»	305
Иваны	307
Как я снова начал писать стихи	309
«А в общем, ничего, кроме войны!..»	311
<i>От составителя</i>	312
Примечания	325

Слущкий Б.
С49 Записки о войне. Стихотворения и баллады
/ Вступ. ст. Д. Гранина. Сост., послесл., примеч.
П. Горелика.— СПб.: Издательство «Logos»,
2000.—352 с.
ISBN 5-87288-192-4

В книгу Бориса Слущкого (1919—1986) включены впервые публикуемая мемуарная проза «Записки о войне», созданная поэтом в первые послевоенные месяцы 1945 года, а также избранные, наиболее известные стихотворения Слущкого о Великой Отечественной войне из сборников разных лет.

ББК 84.Р7

Правовая поддержка издательства «Logos»
осуществляется



Адвокатской конторой «Выборгская сторона»
Санкт-Петербургской Городской коллегии адвокатов

БОРИС СЛУЦКИЙ

*Записки о войне.
Стихотворения и баллады*

Редактор *Т. Шмакова*
Художественный редактор *И. Зарубина*
Технический редактор *И. Буздаева*
Корректор *С. Венедиктова*
Компьютерная верстка *А. Лепешова*

ЛР № 030078 от 20.08.96. Сдано в набор 01.12. 99. Подписано
в печать 10.03.2000. Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура
Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 16,1. Тираж 3000экз.
Заказ № 45

Издательство «Logos». 191023, СПб., Мучной пер., д. 2.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Искусство России».
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38/2.

ISBN 5-87288-192-4



9 785872 881926

*Издание выпущено
при финансовом участии
Администрации Санкт-Петербурга*

*Издательство «Logos»
благодарит
коллектив Санкт-Петербургской бумажной
фабрики Гознака
и лично директора И. П. Щепина
за помощь в выпуске настоящего издания*







LOGOS